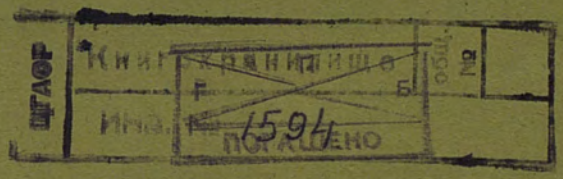
ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ



IV

ПРАГА
1926

5-ЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ. **5-ЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ.**

Открыта подписка на 1926 год

на ежемесячный журнал политики и культуры

„ВОЛЯ РОССИИ“

под редакцией **В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и В. В. Сухомлина.**

В каждом номере **„Воли России“:** Рассказы, повести, стихотворения. Переводы выдающихся произведений западно-европейской литературы. Статьи по вопросам русской и иностранной политики. Систематические обзоры жизни Советской России. Проблемы современной культуры. Жизнь славянства. Статьи иностранных авторов по вопросам международной политики. Литературные отклики. Обзоры новых книг и журналов. Библиография.

За 1925 год в журнале были помещены произведения следующих русских авторов: Аноним (Россия), Б. Аратов, В. Архангельский, К. Бальмонт (Париж), Н. Безпалов, П. Булатов, Д. Вяткин (Россия), С. Верещак, Н. Воронович (Варшава), В. Гуревич, Е. Зноско-Боровский (Париж), проф. А. Герш (Женева), Д. Ивицкая (Россия), З. Кочеткова (Брюссель), А. Коршунов (София), П. Климушкин, К. Кочаровский, И. Каллиников, Е. Лазарев, Л. Леонов (Россия), Вл. Лебедев, проф. И. И. Лапшин, Б. де Линель (Россия), Д. Лутохин, Ф. Мансветов, Н. Мельникова-Папоушек, П. Милославский, Е. Недзельский, И. Нечитайлов (Загреб), С. Новиков (Белград), Б. Нерадов (Россия), П. Орлушин, С. Постников, А. Пешехонов, А. Ремизов (Париж), Ф. Репейников, С. Раппопорт (Лондон), Н. Русанов (Ницца), Л. Россель, Н. Рубакин (Лозанна), М. Слоним, Е. Сталинский, В. Сухомлин, В. Тукалевский, Г. Фальчиков, Г. Шрейдер, М. Цветаева, А. Цаликов, В. Чернов, Ю. Данилов (Париж), проф Н. Ульянов (Лозанна).

Кроме того, были помещены следующие специально для «Воли России» написанные статьи иностранных авторов: Рудольф Брейтшейд (Германия), Ван-Чу-Ху (Китай), Шарль Вильдрак (Франция), Тадеуш Голувко (Польша), Гануш Елинек (Чехословакия), Бласко Ибаньес (Испания), Рихард Линстром (Швеция), Альсинг Андерсен (Дания), Рамзей Макдональд (Англия), Александр Олар (Франция), Сант-Яго (Испания), Коста Тодоров (Болгария), Альберт Тома (Швейцария), Сентаржицкий (Финляндия), Генрих Штребель (Германия), Джиованни Зиборди (Италия), С. Хондокорян (Армения), С. Янниос (Греция).

Произведения следующих иностранных авторов были помещены в переводе с их согласия или согласия издателей: Г. Апполинар (Франция), В. Вавчура (Чехословакия), Э. Бенеш (Чехословакия), Ю. Волькер (Чехословакия), О. Бржезина (Чехословакия), Т. Масарик (Чехословакия), М. Пруст (Франция), Я. Папоушек (Чехословакия), М. Эбергард (Франция).

Цена отдельного номера: в Чехословакии — 15 кр., Югославии — 30 дин., Болгарии — 40 лева, Франции, Бельгии, Турции — 12½ фр. Англии—2 шилл., Америке — 80 цент., Германии — 2 мк., Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Австрии — 15 ч. кр.

Адрес редакции и конторы:

„Volja Rossii“, Uhelný trh., Praha I. Tchécoslovaquie.

П I
543

П1
543
1926 N 4

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

под редакцией

В. И. ЛЕБЕДЕВА, М. Л. СЛОНИМА,

Е. А. СТАЛИНСКОГО И В. В. СУХОМЛИНА

5-ый ГОД ИЗДАНИЯ

IV

950
55
ÚSD

ПРАГА

PRAHA, UHELNÝ TRH ČÍS 1

СОДЕРЖАНИЕ

Эдуард Эррио. Нож за сорок су 3
К. Бальмонт. В плавильнике (стихи) 29
Ант. Ладинский. Стихи о Московии 33
Б. Сосинский. Ita vita 36
П. Муратов. Очерки трех литератур 50
Эдуард Бенеш. Проблема славянской политики . . 64
Е. Сталинский. Крестьянство в судьбах России . . . 81
К. Кочаровский. Социальный строй России (продолжение) 98
Вл. Лебедев. Скверный анекдот (О «Зарубежном съезде») . 121
Иностранная жизнь:
Р. Дукурс. Политические партии и политическая жизнь в Латвии 142
Живко Топалович. На путях объединения славян . . . 154
Среди книг и журналов:
Д. Лутохин. Вешняя книга 161
К. Кочаровский. Пути русской революции 166
Н. Рубакин. Из области книжного дела 176
Отзывы о книгах:
Д. Лутохин. Александр Неверов. Бабы. — *Ф. Репейников.* Г. Винокур. Культура языка. — *Столпник.* А. Е. Редько. Театр и эволюция театральных форм. — *Григорий Радченко.* А. Чаянов. «Краткий курс кооперации» 183

ГОС. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Ленинград
О 1967 акт Р П-476/7
сх 5370

Нож за сорок су.

1. КАН И ЖИРОНДИСТСКОЕ ВОССТАНИЕ *).

В августе 1924-го года в Лондоне, в один досужий субботний день, я случайно нашел приказ об аресте Шарлотты Кордэ, помеченный трагическим числом 13 июля 1793-го года. Документ этот находится с тех пор в надежном месте, под стеклом — в хранилищах нашего Национального Архива.

Бродя минувшим летом по Нормандии, я не мог, конечно, не побывать в Вимутье и Трене, в родных Шарлотте Кордэ местах, с тем, чтобы в воспоминаниях о ней воскресить перед собою ее образ.

Нормандская Юдифь, как называют ее нормандские писатели, внучка Корнейля, внучатная племянница Фонтенэлля, принадлежала к стариному роду, который ведет свое начало уже с половины XI-го века. Герб его, — по голубому полю три золотых полоски, — украшал девиз: *corde et ore*. Шарлотта родилась 27-го июля 1768 года, в Шампо, в невзрачном одноэтажном домике под соломенной крышей. Отец ее, живавший также подолгу в Аржантене, сам обрабатывал свой клочок земли, только-только кормивший его семью. Мария Анна Шарлотта де Кордэ д'Армон не видала большой роскоши и в усадьбе Кордэ, близь Мениль Имбера, в незатейливом доме, сложенном из бревен и кирпичей. Но из своей комнатки с высокой кроватью, тремя стульями, плохеньким столиком и маленьким стенным зеркальцем, из этой комнаты, где она живала гостьей

*) «Нож за сорок су» является заключительной частью книги Эдуарда Эррио «В Нормандском Лесу», («Dans la Forêt Normande»), любезно предоставленной автором «Воле России».

у своих родственников, Шарлотта видела далеко леса, аллею из вязов, пересекавшуюся боковыми дорожками, пышную долину Ож. Мирный, тихий, цветущий пейзаж.

Я имел возможность побывать в усадьбе Глатиньи, принадлежавшей старшей ветви семьи Кордэ, где тоже гостила когда-то Шарлотта Кордэ. Дом, с двумя примыкающими к нему флигелями, крытыми гонтом, обведен досчатой оградой. От мебели не осталось ни следа, она продана была после Революции. Но стены сохранились. Глаза Шарлотты глядели на эту деревянную резную обшивку стен в гостиной, она играла здесь под благоуханным дождем яблонного цвета. Дядя, аббат, обучал ее грамоте по одной из книг Корнейля, и подготовил ее к школьным занятиям, в Кане, в старом монастыре имени королевы Матильды, через который прошло столько поколений...

*

* *

Не буду, однако, уделять слишком много внимания воспоминаниям о детстве Шарлотты, также как постараюсь устоять и против соблазна — в школьных тетрадках и письмах девочки-подростка искать намеков на чувства, зажегшие такие яркие революционные события. Следы, оставленные первыми ее шагами, скорее бледны. Но несомненно, что это был не по летам серьезный ребенок, и что она рано познала печаль детей, оторванных скрываемой нуждою от родного дома; уже в ранней юности отличалась она особою мягкою сдержанностью: плод одиноких дум в небогатой родительской усадьбе. В музее Карнавалэ хранится купленная ею на скромные сбережения книжка XVII-го столетия, в белом веленевом переплете, расцвеченном золотом. Вздорная книжонка: сборник наивно напыщенных, наставительных аллегорий, издания антверпенских иезуитов, одна из многих бессодержательных книжонок, какими изобиловало то далекое время. Эти страницы перелистываются, понятно, с мыслью о том, что могло ее занимать.

Книжке предпослано нелепо-скучное предисловие: «Мы представляем собою — говорит в нем автор — уменьшенный портрет необъятного величия мира, усеянного несчетными горестями и опасностями, терзаемого неустанной враждой друг другу противоположных сердечных чувств. Микрокосм легко

может понять этот мегалокосм». — Дальше галиматья из латинских, французских и фламандских стихов. Даже картинка в книжке In cruce sola quies, как мы узнаем позднее из ее слов, мало говорила ее душе. Письмо, написанное Шарлоттой в двадцать лет, говорит о высокой культуре, о романтическом увлечении героическими эпохами Рима и Спарты. Все ее биографы сходятся в изображении Шарлотты скромной, сдержанной, многоначитанной девушкой, и только своей молчаливостью несколько смущавшей людей. Ей часто поручали хозяйственные монастырские дела. Уже в ее ранних девичьих письмах сказывается та решительная почти властная, сжатая точность, что поражает позднее в ее великолепном письме к Барбару. Вряд ли имеются основания для того, чтобы впечатление, какое произвело на ее страстную душу убийство в 1789 году молодого виконта де Бальзанса, объяснить ее увлечением этим виконтом.

Объяснение слишком простое, обывательское, какое всегда дают поступкам избранников люди серые, люди обыденные.

Из кратких ее записок, из воспоминаний о ней, явствует скорее, что эта строгая, учтивая с оттенком надменности девушка, сама отстраняла от себя всякие соблазны.

Ценны для освещения ее облика не мнимый интерес к романтическим приключениям, приписываемый ей без достаточных оснований, а те черты ее характера, ее душевного облика, подлинность которых подтверждается и добросовестными изысканиями Евгения Дефранса. Уединение, в какое она замуровывает себя, страстность, с какой она поглощает газеты и брошюры, ее восхищение речами Верньо, Лувэ или Барбару, ее молчаливость в те дни, когда она гостила, чуть ли не навязалась гостьей, у старой родственницы в Кане, где она могла получать более верные сведения о ходе политических событий, молчаливость, нарушавшаяся внезапными вспышками радости. Это впечатление значительности, какое она производила на всех при первой встрече, страстный интерес к отвлеченным вопросам, и равнодушие к нарядам и мишуре. От Луи Дюбуа, который встречался с нею неоднократно и написал о ней несколько повышенного тона книжку, мы знаем, что она зачитывалась Руссо и Райналем. Влияние же этого писателя, не оставившего нам большого духовного наследства, было чрезвычайно значительно в то время и во Франции и за пределами

ее. Как и ее будущая жертва, она много размышляла над «Общественным договором», и другими книгами, вызванными к жизни трудом Руссо. Была ли она красива? Нет, вопреки многим славословиям. Правильные черты лица, разве только это. Несколько полна; светлокаштановые волосы, голубые глаза. Комната ее, которой посвящено столько романтических описаний, была пуритански-строга; обитель существа, вся жизнь которого в внутренней напряженности. Спартанка, согласно сложившейся о ней легенде. Упрямая и умевшая отстаивать свои республиканские взгляды в разговорах с братьями, собиравшимися эмигрировать. Настойчивая, и даже жизнерадостная — такою она была. Из замечаний, оброненных ею в юности, следует отметить слова, сказанные ею на одном семейном обеде, когда она не пожелала поднять свой стакан за здоровье Людовика XVI: «Слабый король не может быть хорошим королем».

В первичной своей подлинности, освобожденные от груд романтической дребедени, какой расцветили их энтузиазм и ненависть, эти немногие черты дают цельный образ сильной духом нормандской девушки, поглощенной своими думами, богатой не столь умом, сколь непреклонной волей, и как все люди, которым в силу их душевного склада, чужды внешние проявления банальной чувствительности, таящей в себе родник подлинной нежности, безоглядно и целомудренно поклоняющейся культу свободы и культу родины и вдобавок исполненной отваги и бескорыстной готовности на жертву. Выразительнейший портрет ее дает, пожалуй, одна случайно сохранившаяся стенная надпись, к которой мы вернемся дальше, в департаменте Сены. Андре Шенье в знаменитой, посвященной ее памяти оде, трогательно и исторически верно описывает ее юность.

...Longtemps sous le dehors d'une allégresse aimable
dans ses détours profonds ton ame imprenetrable
avait tenu cachés les destins du pervers.
Ainsi, dans le secret ammassant la tempête,
rit un beau ciel d'azure, qui, sependant, s'apprête
à foudroyer les monts, à soulevér les mers.

(Долгие годы под беззаветно ласковой веселостью в извилинах своей непроницаемой души таила ты судьбу злодея. Так,

украдкой собирая тучи, улыбается лазурное небо, готовясь громы ринуть на вершины и всколыхнуть моря.)

*
* *

Событием, решившим, или, иначе говоря, выковавшим давно зревшую в Шарлотте мысль, явился приказ об аресте 32-х жирондистов, данный Национальным Конвентом 31-го мая и дополненный 2-го июня 1793 г. На другой же день — событие это мы обстоятельно восстановим дальше — город Кан стал центром оппозиции. Восемнадцать жирондистов бежали в Кан. Среди них были — Барбару, Бюзо, Горза, Гуадэ, Лувэ и Петион. В Кане они застают уже сорганизовавшийся повстанческий комитет, который предлагает освободить Конвент при содействии малочисленных отрядов Вимпфена и Пюзея. Жирондисты размещаются в доме интендантства, который теперь значится на улице Карм, под № 44. Ни горожане, ни крестьяне, впрочем, не склонны были поддерживать жирондистов. Они требовали возврата к старому режиму, пишет историк Бодо, и восстановления феодальных прав, привиллегий знати, и всей иерархии королевской власти». Генерал Вимпфен рассчитывал, что удастся согласовать выступления нормандских повстанцев с действиями зарубежных армий. Жорес в своей «Социалистической истории конвента», написал замечательную страницу об ошибке этих добровольцев, которые должны были в тот день, когда Вимпфен предложил им объединиться с вандейскими и английскими отрядами, примкнуть к Революции, не смотря на все ее заблуждения, несмотря на все ее жестокости, «а не бежать, изнемогая с израненными ногами, обходя города и самую жизнь, к предельным концам Франции, где ждала их Кервелеган *).

Были ли федералистами жирондисты в Кане и в других городах? Их часто упрекали в этом. И любопытно отметить, что с них это подозрение снимает в номере «Публициста» от 24 мая 1793 года, никто иной, как сам Марат.

В действительности же, жирондисты, разбитые в Конвенте,

*) Член Конвента, тоже этим приказом от 2-го июня объявленный вне закона.

несомненно, однако, республиканцы, (большинство во всяком случае) и убежденные в том, что нельзя творить Революции, не прибегая к революционным способам борьбы, стоит только внимательно читать переписку г-жи Роллан, надеялись, что при содействии французских провинций, восставших во имя своей независимости против Парижа, им удается вернуть прежнее влияние и вновь стать у власти. От монтаньяров их отделяли не принципиальные различия, а, пожалуй, индивидуальные. Это были скорее люди ораторского пафоса, а не действия.

Но как часто поступают противники существующей власти, и они тоже в вставшей перед ними трудной задаче сочли нужным прибегнуть ко всем способам борьбы и даже к воздействию на восприимчивое общественное мнение. Были среди них и люди недюжинного склада. Бюзо, местный уроженец, сын прокурора окружного суда, и уездного суда в Эврей, выбран был депутатом от этого города, (от Эврей), но лишь после долгих колебаний вошел в Учредительное собрание и тотчас занял место на крайней левой. Здесь он выступил горячим защитником прав народа на церковные имущества. Он был другом г-жи Роллан. Заявляя себя сторонником самых передовых идей, он в тоже время примыкает к застрельщикам борьбы с Горой и с Парижем, который является для Горы главной опорой. Это он автор проекта о создании провинциальной гвардии для контроля действий Учредительного Собрания. У Марата и якобинцев не было более ярого врага.

Когда после заседания 2-го июня опубликован был приказ об аресте его, он умчался в Эврей, где с амвона местного собора тотчас загремели его призывы к восстанию.

Эли Гуаде прибыл из Жиронды. Монархист в глубине души, что не мешало ему быть сторонником суровейших мер против короля и голосовать после процесса за воззвание к народу и смертную казнь, он тоже изощрялся в выступлениях против парижских депутатов. Горза, родом из Лимузина, долголетний узник Бастилии обязан был своей популярностью «Вестнику 83-х департаментов», в котором, начиная с июня 1789 г., революционные события подвергались страстному обсуждению. Департамент Орн и одновременно Сен и Уаз выбрали его своим депутатом в Национальный конвент. Всем известна романтическая история нежного бесшумного Лувэ де Кувре, контор-

ника в книжном магазине, автора романа «Любовь рыцаря Фоблаза», друга г-жи Шолэ, с которой он обвенчался в августе 1793-го года в Вире. Весь Париж читал его листовки против Горы, весь Париж знал «Часового». Но исключительной любовью в народе пользовался статный, красивый, приветливый Петион де Вилльнев, тщательно поддерживавший создавшуюся за ним репутацию человека безупречной нравственности. На гравюре Ле Ваше, хранящейся в Зале игры в мяч (в Версали), он изображен во весь рост, с открытым лицом, с высоким лбом. На картине Давида он стоит рядом с Бюзо. Влияние его было очень значительно после июньских событий 1792-го года, когда резко осуждаемый королем, уволенный от должности парижского мера, но поддерживаемый Законодательным собранием, он прочел с трибуны адрес секций, требовавших свержения монарха. Петион председательствует в первом собрании Конвента и Общества якобинцев, в то самое время, когда Париж с ликованием вновь избирает его своим мером. Он не мог жаловаться на равнодушие столицы в июле 1792-го года, выступившей с оружием затем, чтобы защищать его против опалы Тюильрийского дворца. Он голосует за смерть короля и против отсрочки казни. Но едва началось его сближение с Жирондой, популярность его стала падать. В песенках, распеваемых на улицах, поносятся как «король Петион», так и «король Бюзо». После резких стычек с Робеспьером по поводу Дюмурье, имя его включено было в список лиц, подлежавших аресту. Тогда, убежав переодетым из Парижа, он отправился в Кан и стал во главе других депутатов-изгнанников.

Что касается Барбару, Антиноя г-жи Роллан, то тайну его очарования раскрывает отчасти портрет Давида. Его черные волосы, черные горячие глаза, звучный голос, четкая извилина губ, белые, как свежий миндаль, зубы, также, как и его ум, разносторонность, и многоодаренность, его жажда славы, приведшая его к учению Марата, его кипучесть, страстность, гибкость, и даже хитрость, это обаяние против которого не устоял и сам Робеспьер, — непринужденная уверенность, с какою он своей речью усугублял значение своих действенных усилий, все эти его качества и даже недостатки, — в одинаковой мере содействовали тому, что Шарль Жан Мари Барбару был одним из популярнейших деятелей первого периода Рево-

люции. В тоже время он был представителем одной из значительнейших провинций, которой лестно было воображать отраженным свой облик в этом блестящем человеке. Порвав, как и Петион, с Горою, он выступает открыто против Робеспьера и Дантона, а там и против Парижа, с неосторожностью и опрометчивостью, которые могут казаться в иных случаях странными. С целью сразить Марата он действует за одно с Бюзо Филиппа Эгалитэ. Когда популярность его, как и популярность Петиона, начинает падать, когда убедившись в том, как неверны были его рассчеты на личное его влияние и власть, он слишком уже поздно пытается рассудком и опытом обуздать свое воображение. Но среди всех этих превратностей судьбы, дающей ему острое и мучительное сознание содеянных ошибок, он сохраняет, однако, духовную отвагу, остается на высоте того мужества, доказательство которого он дал позднее в день своего окончательного падения, в день ареста его друзей, попыткой самоубийства, и, наконец, под ножом гильотины.

Предположение о том, что у Шарлотту был роман с красивым Барбару, — безосновательно и даже оскорбительно для ее памяти. На этот счет и сомнений не может быть никаких. Совсем недавно вновь появилось в печати письмо Барбару, написанное им весною 1794-го года, его товарищу Саллю, депутату от Мейрт, тоже изгнаннику, автору трагедии «Шарлотта», Барбару говорит в этом письме о любви Адама Люкса, который после ее казни из пламенной любви к ней добровольно ищет тюрьмы и смерти на эшафоте. Это письмо страстного почитателя, а не возлюбленного. В действительности, любил Шарлотту человек, несравненно менее заметный, чем Барбару: Бугон Лонгре, которому у нее не хватало отваги написать несколько слов накануне казни, так как, говорила она Барбару — «знала о его чувствительности». Бугон в 1791-ом году назначен был в Кальвадос секретарем местного суда, а в 1792-ом получил звание прокурора. Это он снабжал Шарлотту книгами по философии. Он тоже трагически кончил свой век. Участник восстания, потом пленник вандейцев, спасенный принцем де Тальмоном, он объявлен был вне закона, и схваченный в окрестностях Фужера, где скрывался, казнен был без суда в Ренне, 4-го января 1794-го года. Накануне смерти он напи-

сал матери своей письмо, в котором такие строки признания: «Если бы еще я в последние мои минуты мог обольщать себя, как дорогая моя Шарлотта, сладостной и призрачной верой в близкое восстановление мира и порядка на моей родине... Увы, я уношу с собою мучительное сознание, что кровь будет литься еще более широкими ручьями. Шарлотта Кордэ! Благородный, отважный друг мой! Ты, чьим образом полна была моя память и сердце, жди меня, я иду к тебе. Только желание отомстить за тебя поддерживало во мне до сих пор волю к жизни. Мне кажется, я исполнил этот священный долг. Я умираю с чувством удовлетворения, и достойный тебя».

Когда в Кан прибыли бежавшие из Парижа восемнадцать жирондистов, Шарлотта, усердная их читательница, давно уже была беззаветно преданной им союзницей. Она читает «Ежедневную газету» (Gazette quotidienne) Перлэ, газету аббата Понселэна, «Всемирный вестник» или «Парижское Эхо», редактируемое Гюссоном, «Вестник» (Le Courrier) Горза, «Французский патриот» (Le Patriote français), основанный Бриссо, и прочла еще, как она сказала на суде, «свыше пятисот брошюр за и против Революции». На допросе она говорила председателю суда Монтанэ, что в апреле 1793-го года, когда она брала в Аржантане паспорт для поездки в Париж, она не думала еще об убийстве Марата. Так оно, конечно, и было. Шарлотта лгать не умела.

Для того, чтобы завязать сношения с жирондистами, Шарлотта обращается прежде всего к Барбару. Предлогом служит ей жалоба ее приятельницы, г-жи де Форбен, лишенной жалованья, полагавшегося ей, как Канониссе Капитула Труд.

Это был, конечно, только предлог. 20-го июня, Шарлотта в сопровождении старого слуги является к Барбару. Он обещает ей передать ее ходатайство товарищу по Национальному Конвенту, Лоз де Перре. Шарлотта, по словам Лувэ, несколько раз приходила в Интендантство. О своих намерениях она ни разу ни словом ни с одним из жирондистов не поделилась. Избрала она Барбару оттого, что знала о его знакомстве с семьею Форбен, — показала она позднее на суде. В последнее свое посещение она разговаривала с кое-кем из жирондистов о ревностной готовности жителей Кана выступить против анархистов. Она говорила также на суде, что если и знакома была

с прокламациями и воззваниями мятежников, то на публичных собраниях, которые они устраивали, не была ни разу.

13-го мая в Кане разыгрались крупные события. Весь департамент встал на сторону жирондистов против Горы. Мишлэ в главе, посвященной смерти Марата, объясняет, как изгнанные депутаты умудрились создать самый фантастический роман, как они сумели убедить население и самих себя, что каждый монтаньяр был орлеанистом, и установить, как не нуждавшуюся в доказательствах истину, что правительственную власть во Франции воплощал в себе один Марат. «Вздор, которой охоты нет повторять, — пишет Мишлэ, — но рисующий слепую, легкомысленную доверчивость ненависти: ораторы, громившие стоявших у власти, путали, быть может сознательно, быть может для рифмы, имена Марата и Гарата; жирондисты смешивали с апостолом убийства, — этого кроткого, мягкосердечного человека, который в это самое время искал сближения с ними». Так создается легенда. Человек становится символом добра или зла. Критика тогда уже бессильна, и даже люди осведомленные о подлинной его роли, разделяют сложившееся о нем общее мнение.

Мишлэ описывает состояние умов в ту эпоху. Луи Блан в восьмом томе Истории Революции — освещает события: верховный совет департамента Кальвадоса собирается 4-го июня для обсуждения «способов спасения отечества», община Эврей поручает меру Шомону и депутату Гардамбра подготовительную работу к осуществлению этого замысла, депутаты, находящиеся в Кане распаляют и торопят патриотов; драгунам из Ламанша, и стрелкам в Эр отрезан путь к Версалю, куда призывает их военный министр; восстание разгорается; народ введен в заблуждение, и уверен, что перед ним задача спасения Конвента; Лувэ, бежавший из Парижа со своей Лодоиска, встречается с Гуадэ, переодетым обойщиком; и во главе мятежа, разжигающий страсти генерал Феликс Вимпфен, предлагающий свои услуги Республике с мыслью об измене ей, бывший член Учредительного Собрания, оставшийся верным монархии и феодальному дворянству. И этого Вимпфена легкомыслие жирондистов провозгласило спасителем! В Кане съорганизовался Центральный комитет борьбы с «тиранией», который выпустил манифест, и Луи Блан первый напечатал его. В манифесте этом

особым нападкам подвергался Марат: его обвиняли в стремлении дать стране диктатора. Надо отметить последнюю фразу этого исторического документа, так как не может быть сомнения в том, что манифест читала Шарлотта Кардэ и заключительные его слова отчасти объясняют ее решение: «Ты, Паш, и все близкие тебе, и все твои чиновники и члены Кордельеров, и твои женщины революционерки, отвечаете нам вашими головами не только за чье либо выступление, которое могло бы повлечь за собой убийство кого либо из арестованных народных представителей, но и за каждое более или менее насильственное действие, которое могло бы иметь роковые для них последствия». — Два комиссара, посланные Конвентом в Кальвадос, Ромм и Приейр арестованы, и посажены под замок.

Имеется, впрочем, показание более близкого эпохе свидетеля, чем Мишлэ и Луи Блан. Это «Мемуары» самого Лувэ де Куврэ.

Автор «Фоблаза» верно учел недоразумение, которое с самого начала восстания разделяло республиканских жирондистов и нормандских роялистов. Но Вимпфен пользовался таким авторитетом, что отвергнуть его услуги казалось невозможным. Жирондисты к тому же и не съумели выделить вождя из своей среды. Вернее, этим вождем вдохновителем была молчаливая женщина, и в благоговейных почтительных словах о ней явно сквозит у Лувэ де Куврe сожаление о том, что она избрала Барбару, а не его — компасом на пути к намеченной ею цели.

18-го июня 1793 г. Шарль Барбару выпускает в Кане против Марата памфлет, темно серый экземпляр которого хранится в Британском Музее. Это обращение к жителям Марселя. Барбару призывает их в свидетели тому, что во все департаменты, куда удалось ему проникнуть, Марат приносил искаженный облик Свободы, которую он сам готов был защищать всеми своими силами, и если понадобится, отдать за нее свою жизнь. Барбару взывал к оскорбленному национальному чувству, обличал комитет, поглощавший народное богатство, уничтожавший азартной биржевой игрою общественный кредит, спекулировавший на продовольствии действующих армий. Верны они или лживы, такого рода обличения, в смутные времена и особо после войн, сильнее всего действуют на народное воображение.

Стоявшие во главе этого комитета Марат, Дантон и Робеспьер намечены первыми жертвами народной расправы.

Слова льются ручьем в этом памфлете. Громоздят — обвинения на обвинения, упреки, проклятия, имена обреченных подлежащих анафеме... «Эти негодяи, добавляет Барбару, утопающие в золоте, разъезжающие в пышных каретах, они нас обвиняли в подкупности, нас, питающихся черствым хлебом, истинных апостолов свободы, колесящих по большим дорогам». Цезарь, Кромвель были гнусные тираны: но не гнуснее ли во сто крат те, что единственной своей победой могут назвать убийства 2-го сентября, те, единственные трофеи которых — смертные останки несчастных бельгийцев, единственные заслуги которых перед человечеством преступления и преступления? Это соучастники Питта, задача их: раскол во Франции. Уже — все большие города заражены «маратизмом».

Французы, встаньте, как один человек, и двиньтесь на Париж — вопит выпущенное в Кане воззвание, напечатанное местным типографом Шалопеном. Двиньтесь на Париж не для того, чтобы сражаться с Парижанами, а для того, чтобы освободить их, для того, чтобы отстоять единство неделимой Республики.

«Двиньтесь на Париж не для того, чтобы распустить Национальный конвент, а для того, чтобы обеспечить за ним свободу действий. Двиньтесь на Париж с тем, чтобы покарать убийц и сбросить диктаторов с Тарпейской скалы». «Прощение — заблуждающимся, правосудие — для разбойников. Корень зла в Париже. До — свидания в Париже. И да погибнет, да проклят будет тот и с ним весь род его, кто словом, пером, или мыслью восстанет на единую и неделимую Республику».

Воззвание это подписано было: Барбару из Марсели, депутат в Национальном конвенте от департамента Буш дю Рон, изгнанный благодаря своему званию, в которое возвела его воля народа».

Чтение этого воззвания сопровождалось пением гимна на мотив Марсельезы:

Républicains, Votre ènergie
A-t-elle triomphé des rois
Pour voir une autre tyrannie

Vous dicter de honteuses lois?
Quoi, le farouche Robespierre
Serait l'arbitre de l'Etat?
Quoi! Danton, quoi le vil Marat
Règneraient sur la France entière?

Aux armes, citoyens! Terrassez les brigands:
La loi (bis) c'est le seul cri, c'est le voeu des Normands.

(Республиканцы, неужели лишь затем вы одолели королей, чтобы из рук других тиранов принять позорные законы? Как! жестокий Робеспьер будет главою государства! Как! Дантон и гнусный Марат будут править всей Францией?

К оружию, граждане! Долой разбойников.

Закон, закон — единый крик, единое желание нормандцев).

---

2. УЧЕНИЕ МАРАТА.

Марат еще ждет своего беспристрастного судью. В предисловии к «Террору» Мишлэ изображает его истериком, безумцем, одержимым жаждой крови и литературным тщеславием. Он изображает его в минуты торжества — гаером, разыгрывающим комедию перед народом, который он взвинчивает, и волнует, как ярмарочный фокусник, как продавец чудодейственных средств перед бешено аплодирующей толпой, Мишлэ рисует нам маленького грязного человека, одетого вычурно и неряшливо, «истощенного, несуразного, растерянного». — Но в этом портрете, конечно, больше воображения, чем убедительной наблюдательности. Этот безумец, беспрерывно мотающий головой, на все и всем отвечающий недвижной улыбкой, нет! Это не Марат с его твердой волей и бесстрастным хладнокровием. И вряд ли тут со стороны Мишлэ предвзято-враждебное отношение к Марату. Он воздает дань удивления жирондистам, но добавляет, что голосовал-бы против них, так как подобно многим представителям в разных народных собраниях, они ничего не предлагали, а только откладывали решительные меры. Шла ли речь

о необходимости финансовых реформ, о падении курса — «Надо выжидать — говорил Дюко. Раньше или позже, все это само собою наладится».

В замечательной главе, посвященной 31-му мая, Мишлэ резко осуждает жирондистов. — «Основатели Республики — пишет он — они стали щитом и ширмой для роялистов». Также, как и Жорес он далек от подозрений жирондистов в федерализме, он не обвиняет их в том, что они стремились к расчленению Франции, но недостаток прозорливости у них он находит *непростительным*. И жалея их, он этим самым осуждает их.

Монтаньяр, но не якобинец, Мишлэ, однако, с той же страстностью выступает против Марата и его призывов к «позорному» бунту. Он высказывает, впрочем, предположение, что Марат уже в мае 1793 года пал духом, был болен и что самым воздержанием от решительных действий подготовил свою гибель. Мы увидим дальше из выдержек из «Друга Народа» верно ли это предположение, верно ли, что Марат так изменился в последние месяцы своей жизни? И есть ли основание думать, что стремительный ход событий усмирил и обуздал его дух?

«Вопрос еще — говорит Мишлэ — сумел ли бы он сохранить свою популярность в новой роли успокоителя и руководителя взбудораженными умами?»

Для Тэна, склонного к преувеличениям, Марат — просто: умный больной, графоман, один внешний облик которого — неряшливость, беспорядочная одежда, уродливо-маленький рост недоноска, подпрыгивающая походка, беспокойный взгляд обличают темную, сложную наследственность, неутоленные инстинкты, уязвленную гордость, гамму мелочных и противоречивых чувств. Шарлатан и педант... Тэн этих слов не произносит, но они вытекают из его строк. Тэн отрицает в Марате всякую способность трезвого суждения, элементарнейшую честность. В жестокости же воображение всем ненавистного человеконенавистника превосходит все границы. Он одержим жаждой крови. Все его помыслы сосредоточены на убийстве. Цельность его действий в исключительной, в постоянной готовности на кровопролитие.

Не подчеркивая своих намерений, Тэн беспощадным суждением о Марате пытается стереть его имя со страниц истории.

Да и вся историческая деятельность Марата, по утверждению Тэна, — всего лишь памфлет.

Как сквозь эти и другие преувеличения восстановить жизнь, подлинный облик этого сложного человека, труп которого потомство так усердно топтало ногами?

И прежде всего, его внешность? Доктор Кабанэс прав: имеющиеся портреты Марата очень далеки от подлинника. Давид совершенно преобразил своего героя. Маска снятая скульптуром Бовалле передает лишь предсмертные судороги. Только два изображения Марата заслуживают доверия: портрет Бозе, гравированный Бейссоном, на котором Марат бросает с трибуны вызов Жиронде, и портрет, писанный с него Дейзеном в 1793 г. И — какой огонь брыжжет из глаз Марата на первом портрете, хранящемся теперь в музее Карнавале! А вот как описывает его Фабр д'Эглантин: «Крепко сколоченный, коротконогий, крутобедрый, сильный, лицо широкое и костистое, орлиный приплюснутый к концу нос, тонкие сжатые губы, высокий лоб, серовато-желтые но умные, живые, острые глаза, редкие брови, тусклый землистый цвет лица, черная борода, темные, небрежно разметанные волосы. Вот — Марат. Ходит он, высоко вскинув голову, быстрыми и мерными шагами, виляя бедрами. Руки обычно скрещены на груди. Когда говорит — волнуется, топает ногой. Голос сильный, звучный, несмотря на органический недостаток речи — неясно выговаривает *ц* и *с*. На трибуне он стоит, уверенно, твердо, правою рукою упершись в бок, левую вытянув вперед. Перед слушателями, среди шума — невозмутимо спокоен. Иронический взгляд подчеркивает цинизм слов. На улице — вызывающе неряшлив, чаще всего на нем зеленый широкий бурнус, за поясом кинжал и пистолеты, на голове косынка, или берет санкюлотов. В этом наряде, конечно, умышленная поза. Его видали и в безупречном фраке с воротником из тигровой кожи, с галстухом, завязанным большим, легким бантом, в плотно облегавших его ноги брюках, в штиблетах с отворотами. Дома, он принимал посетителей в башмаках на босую ногу, в кожанных брюках и куртке из белой тафты.

Родился он 24-го мая 1743 года в Будри, близь Невшателя и лесистых ущелий Арейз, под суровыми вершинами Юры. Утверждение иных его биографов о том, что национальности он был швейцарской, однако, неосновательно. В силу Утрехтского

мира, Невшатель числился за Пруссией, и к швейцарским кантонам присоединен был лишь после 1814 года. В метрических книгах города Будри имеется и такая запись: «Жан Поль Мара, сын Жан Поля Мара, прозелита родом из Кальярии в Сардинии, — и Луизы Каброль, родом из Женевы, родился 24-го мая и крещен 8-го июня, без восприемника, в присутствии крестной матери, г-жи Каброль, бабушки новокрещенного». По справке, любезно доставленной мне мером города Будри, семья Мара получила права гражданства в этом городе в 1765 году. Это единственный сохранившийся об этой семье документ. Жан Поль, так гласит уже предание, родился в невзрачном домике, на месте которого теперь автомобильный гараж, — близь гостинницы «Золотого Льва».

Если верить Шевремону, — а книга его о Марате, во всяком случае обстоятельнейшая из всех написанных о нем, — сами Мара утверждали, что предки их были испанцы. — «Мне выпало на долю счастье — писал о себе Марат — получить в родительском доме тщательное воспитание, ко мне не привились свойственные многим детям порочные привычки, которые ослабляют и унижают мужчину, я рос вдали от соблазнов юности, и достиг зрелости, ни разу не уступив бурному натиску страстей, в двадцать один год я был еще девственником, давно уже поглощенным духовными интересами». — Нет людей опаснее таких вот праведников. В бытность мою в России, я собрал множество всяких сведений о Дзержинском, жутком начальнике первой большевицкой Чека. Все показания о нем сводились к одному, — к изображению Дзержинского непреклонным аскетом.

В своей газете «Journal de la Republique française» Марат рассказывает, как его мать старалась пробудить в нем нравственное чувство, любовь к униженным, и идею справедливости, «которую должно развивать, как путем воздействия на чувство, так и на разум». — Ребенок, самолюбивый — (он не говорит об этой врожденной черте своего характера, но все воспоминания о его детстве, свидетельствуют о ней) хилый, одаренный пылким воображением, жаждущий быть на виду, мечтающий о славе, болезненно к тому же раздражительный, читает запоем и замыкается в одинокие думы. Какие книги больше всего воспламеняли его. На этот вопрос ответа долго искать не приходится.

Марат, по всей очевидности, страстно воспринял Руссо и находился под сильным его влиянием. Ему было лет двадцать, когда нелюдимый суровый философ напечатал одну за другою две книги, «Эмиль» и «Общественный договор» — тема которых создание нового политического строя, основанного на необходимости вернуть человека к первобытной свободе, в раме стройного уклада верховной народной власти. «Только в демократическом строе — писал Руссо — гражданин черпает силу и стойкость, и может каждый день своей жизни с чистым сердцем повторять слова, сказанные одним доблестным воеводой в польском сейме: Malo periculosam libertatem quam quietum servitium».

Жгучие слова, — которые могут конечно воспламенять замкнутую юную душу! Марат тщательно изучал и Монтескье, чему он даст позднее убедительное доказательство. У него перенял он трезвость мысли, считающейся прежде всего с фактами, и известные приемы работы, напоминающие отчасти тот подход к отвлеченной теме, которому мы обязаны «Духом законов». — Мысли Монтескье, правда, неминуемо должны были оказаться в противоречии с учением Руссо, — иллюстрацией же этому конфликту является сама Революция. И если можно сказать, что теории Монтескье ярко воплотились в Учредительном собрании, в Декларации человеческих прав, а учение женевского пророка — найдет отзвук в действиях Конвента, то ведь тот же антагонизм и в самой политической карьере Марата, которая и объясняется целиком этой вечной борьбою в нем противоречивых идей.

С целью дополнить свое образование Жан Поль совершает ряд путешествий, о которых мы, впрочем, плохо осведомлены. Некоторый свет на годы его странствований бросают слова Марата в «Публицисте Французской республики», Publiciste de la République française, написанные им за несколько недель до его убийства. «Я жил два года в Бордо, десять лет в Лондоне, год в Гааге, в Утрехте, в Амстердаме, девятнадцать лет в Париже, исколесил пол Европы». Из этих указаний для биографа Марата выясняется прежде всего одна из отличительных его черт, культурность, широкий кругозор. Мишлэ отавил вопрос — имел ли Марат право на звание врача. Но диплом на звание врача, выданный ему 30-го июня 1775 года шотландским уни-

верситетом Св. Андрея и по всем правилам закона, — был напечатан. Медицинская практика, однако, не могла ни утолять его жажду деятельности, ни поглощать всю его изумительную работоспособность.

В Марате уже в годы его пребывания в Англии зреет будущий политический писатель.

Англия в конце XVIII столетия являла собою для человека, чуткого к общественно-политическим вопросам, увлекательнейшее зрелище.

Резкий контраст между внешним блеском и бедственным состоянием самой страны. Английский парламент — хозяин положения, так как ведает финансы, власть его едва ли не сильнее королевской власти, но утверждает он эту власть во имя и в интересах знати, дающей старших в роде Палате Лордов, а младших — Палате Общин. Политическая власть находится в унижающей ее зависимости от Капитала, а самый Парламент гнездо подкупности.

Английский парламент в это примечательное время правит без славы, мнимой терпимостью и словесным либерализмом прикрывая самые неслыханные беззакония.

Марат, живя в Англии при этом режиме, находясь в общении с печатью, своей деятельностью изо дня в день доказывающей преобразовательную мощь свободной мысли, внимательно наблюдает жизнь общества, которому грозит полное разложение, несмотря на кажущуюся прочность его конституционных форм. Он слушает и впитывает суровые слова проповедников, жаждущих нравственного оздоровления страны, одержимых идеей духовной доблести. Он непосредственный свидетель крестового похода методиста Джон Уэслея, бывает, вероятно, в часовнях, где оживают обряды моравских религиозных сект, где людей связывает глубокая и страстная любовь к человечеству. Сам Питт, непримиримый враг Франции, — противупоставляет этой скандальной безнравственности самых значительных кругов общества, — свою непреклонную честность, резко обличает беззакония, грозит судебной ответственностью ненадежным чиновникам, с решимостью древнего трибуна громит лже-патриотов, взяточников, и в те дни, когда несчастная Франция гибнет, обессиленная и лишенная возможности отражать удары, отнимающие у нее земли, оплодотворенные ее гением, Питт являет

мятежному изгнаннику пример того, чего можно достигнуть твердой волей, недоступной низменным соображениям, которые разбиваются об его отвагу, как об утес переменчивая волна.

Чтобы понять Марата, уяснить себе, как сложился его духовный облик и его характер, необходимо учесть, — что далеко не все биографы его делают, — влияние среды, в которой он провел часть своей жизни. В этой Англии конца XVIII го века, реакция, возглавляемая Георгом III-ьим, также упорна, как прогрессивное движение. Марат — свидетель усилий тори, направленных на восстановление своей власти, промахов Гранвилля, который по характеру своей деятельности, был, пожалуй, предтечей жирондистов; он свидетель попыток министерства лорда Норзи — захватить политическую власть. Но он также непосредственный наблюдатель напряженной деятельности печати, которая добивается наконец права печатать политические прения, подготовляя таким образом и создание тех держав, в какие позднее выросли лондонские крупные газеты, и сотрудничество всего общества и правительства и как человек, вернувшись во Францию во время развивающихся в ней решительных событий, человек с сложившимся мировоззрением, с закаленною волей, мог бы не сравнивать неустанно своей находящейся на краю гибели родины с крепнущей в борьбе Англией.

В своих зажигательных письмах, печатавшихся с вынужденными перерывами с января 1769 года по 1772 года в «Public advertiser», Юниус, передавал, несколько нажимая быть может педаль, чувства негодования английского общества. Он полными пригоршнями бросает власти и королю оскорбления и угрозы. Как позднее «Друг народа», он из стен канцелярий выволакивает на площадь продажных и нерадивых чиновников. Еще смелее, под своим именем, с открытым забралом, Джон Уильк, основатель английской партии радикалов, настойчиво и страстно требует парламентской свободы, какой еще не было тогда в Англии. Его периодический памфлет North Briton — нападает даже на короля и в такой форме, и с такой резкостью, что иные номера немедленно предаются сожжению.

Уильк, вечно выслеживаемый, преследуемый властями, одолевает, однако, все помехи, все преграды его деятельности, благодаря только своей героической стойкости и сочувствию об-

щества, и победителем выходит из своей тюрьмы в иллюминованный Лондон.

И пример Уилька не мог, конечно, не воспламенить страстную сложную душу Марата, тоже мечтавшего о славе, которой должна была увенчать его защита народных прав....

* *
*

В Лондоне, в 1772 году тридцатилетний Марат напечатал свою первую книгу «An Essay on the Human soul». Когда труд этот вышел на французском языке, Вольтер сурово отчитал автора. Он обрушился на него упреками за неуважительное отношение к предшественникам, за оскорбительные суждения о современниках и древних мыслителях. Он отмечает его обмолвки, противоречия и резкости.

«Предоставьте лучше Богу заботы о человечестве — писал Вольтер, — как ни как, а дом свой построил он сам, и вас в управляющие не звал». — Вся эта книга, по отзыву Вольтера — сплошной набор слов.

Суждение это утвердилось за первым произведением Марата. Но неужели больше ничего и нет в трех томах, изданных Мишелем Реем в 1775 году и представляющих теперь библиографическую редкость. Мы находим в них, во всяком случае интересные страницы о необходимости пользоваться методом наблюдения для того, чтобы создать науку о человеке, и выяснения причин для верного учета последствий. Можно даже сказать, что этот врач тогда уже предугадывал то, что в наши дни называется грузным словом — психофизиология. Марат вовсе не отрицает заслуг Декарта или Монтескье. Но у них не было, как и у Гельвеция многих необходимейших знаний. «Вместо того, чтобы путем тщательных наблюдений приходить к цельному строю идей, из которых каждая являлась бы логическим выводом, — философы поступали как раз обратно: они измышляли свои учения, они приспосабливали явления к своим идеям, и пытались подчинить природу своим суждениям». — Неужели так уже вздорны эти слова? В 1775 году переживший себя Вольтер уже представляет собою прошлое. Своими усилиями выявлять душу в органах, где она сокрыта, своими наблюде-

ниями над влиянием «материи на мыслящее вещество», своими изысканиями в области анатомии и одновременно — изучением философии, Марат вышел на путь совершенно новых методов научной работы. И нет оснований преувеличивать его самоуверенность. — «Верно ли я сам понял — говорит он — то, что мнится мне, — так трудно понять? Я чувствую, что мог и в этом, и во многом другом ошибаться».

Книга его страдает длиннотами. Неискусно построена, растянута, многословна. Но едва ли можно утверждать, что она умышленно парадоксальна. Автор не отрицает духовного начала жизни. Он только упорно и настойчиво проводит мысль о влиянии нашего физического состояния на наши чувства или наши мысли, о бессилии нашем воспринимать или выражать безусловно отвлеченность. «Если мы, например, хотим составить себе представление о Боге, то мы прежде всего представляем его себе с точки зрения человеческих отношений, то как доброго отца, то как мудрого, славного короля, или же могущественного властелина, или как гневного судью». Если в этой тираде, где немало, конечно, пустозвонства, искать отражения духовного облика Марата, то надо его искать и в той главе, например, в которой он толкует жалость, как победу социального воспитания над слепым инстинктом, и в его занятнейших страницах о душевной мощи человека. Его критический ум не признает мнимого бесстрастия философов. Когда Диоген собственноручно возлагает на себя венок, на истмийских играх, и возглашает себя победителем человеческих слабостей, он, в действительности, не больше — как раб своего тщеславия. Марат отрицает пресловутую душевную явность героя. Да, конечно, возможность такого явления, как Шарлотта Кордэ — ему и в голову не приходила.

Есть у Марата другой труд, с которым никак уже нельзя не считаться. Это «Цепи рабства» — изданный им на английском языке в 1774 году и на французском во время Революции. По трагическому случайному совпадению, объявление об этой книге напечатано было в «Публицисте» — в воскресенье 7-го июля 1793 года за несколько дней до убийства автора. Одновременно с этим явлением «Друг народа» — напоминал читателям, что Сен Джемс истратил более двух сот тысяч фунтов, чтобы только воспрепятствовать появлению этой книги в печати. Кни-

га эта уверял он — историческая и философская картина всех преступлений, коварных уловок и гнусных заговоров, к каким прибегают монархи с целью упразднения свободы и порабощения народов».

Мысль автора передана в этих словах верно. В этой книге, написанной по поводу переизбрания английского парламента, Марат выступает, как гражданин мира. Парламент, опозоривший себя подкупностью членов, был накануне падения. Странствующий лекарь задается целью убедить английских избирателей — выбрать просвещенных, честных людей, и вместе с тем рисует им все язвы деспотизма и несчетные преимущества свободы. Для того, чтобы написать эту книгу, он проглотил сотни томов, перерыл всю историю Англии. Он работал — по его словам — чуть не двадцать-двадцать один час в сутки, и питался одним кофе. Окончательная редакция книги, длившаяся три месяца, так истощила его, что он вынужден был разрешить себе продолжительный отдых для того, чтобы восстановить свои силы. Неожиданная подробность: музыкой наполнял он дни своего отдыха.

Как и его учителю Руссо, Марату всюду мерещатся шпионы и изменники. Он обвиняет министров в конфискации ящика с золотом, посланным ему несколькими объединившимися союзами, группа граждан из Ньюкейсля предлагала ему гражданский венец, но имя его отмечено было красными буквами в записной книжке Георга III. В будущем он собирался дать Франции новые законы, а пока что задался целью преобразовать конституцию в Англии.

Книге «Цепи рабства» — предпослано было длинное обращение к избирателям Великобритании и философское введение о теоретической сущности деспотизма. Сама книга разбита была на ряд мелких главок. И здесь-то главным образом, и сказалось, по крайней мере, в приемах изложения, — влияние Монтескье. Политические взгляды автора определяются легко: все государства созданы насилием, — законы, в первичной их форме, ни что иное, как полицейские правила, — монарху, лишь опираясь на пороки своих подданных, удается поставить себя в исключительное положение единственного неподвластного законам. — Первый удар, который монархи наносят свободе — не в дерзком попирательстве законов, а в том, что они

умудряются вовсе заставить забыть об их существовании, — каждая государственная власть сильна не своим строем, а нравственной доблестью граждан. — Купля и продажа вызывает к жизни спекуляцию, или образование крепко спаянных групп, — где сосредоточивается грозная сила, безграничные возможности захвата — капитализм (Марат часто повторяет это слово и злоупотребляет им) и развращающая роскошь. Это очевидные истины, весьма распространенные в политической литературе XVIII века. Но нельзя никак отказать Марату в широкой осведомленности, в серьезном знании истории Европы в тех случаях, когда он обстоятельно и тщательно освещает приемы, при помощи которых в народные массы вносятся нравственная скверна и раскол, когда он изобличает деятельность провокаторов, когда он рисует слепую беспечность обманутых масс и недостойные уловки, имеющие целью — усыпление общественного негодования, когда он отмечает невежество, как главного соучастника деспотизма, когда он говорит о предосторожностях, какие следует принимать затем, чтобы военная наука целью своею ставила себе охранение интересов родины, а не защиту привиллегий. Нельзя так же не отметить отваги Марата не только в его выступлениях против королей, злоупотребляющих своей властью, но и против глупости толпы, его прозорливую оценку техники государственных переворотов, и глубокую любовь к трудящемуся и страдающему народу, любовь брызжущую из всей этой бездны речей. Нельзя отрицать и силы, какою звучат заключительные строки книги: «Участь свободы та же, что и всех других земных явлений. Она уступает власти всеразрушающего времени, которое все разрушает, невежеству, которое все мутит и путает, пороку, который все развращает, и силе, которая все сокрушает».

Между 1779 и 1789 гг. Марат напечатал множество научных сочинений: «Новые открытия о сущности огня», «Исследования об электричестве», «Основные оптические понятия», «Письма о воздухоплавателях и воздухоплавании», «Новые открытии в области света», и другие. Названия этих брошюр длинны и вычурны. Марат, очевидно, метит в энциклопедисты. Добавляют ли эти научные работы кое что к заслугам Марата, и насколько в них самостоятельности и своеобразия?

Из писем Марата, изданных несколько лет тому назад

Шарлем Веллеем, видно, что Марат неустанно занимался всякого рода опытами и неустанно полемизировал с академиями наук. Он отстаивает вивисекцию во имя мысли, которую он так ревностно осуществлял на деле в своей грядущей, политической деятельности. «Малая доля зла во имя большой доли добра».

«Если Всевышний пошлет вам долгую жизнь, — писал он одному английскому ученому, — вы увидите, что научные работы над живыми животными, будут производиться по всей Франции, как и в Англии. Мы должны изучать природу во всех ее проявлениях».

С каким удовольствием он сам применил бы метод вивисекции к физику Чарлю, с которым была у него получившая скандальную огласку ссора, едва не кончившаяся дуэлью.

Марат уверен был в том, что пересоздал не только науку о физиологии, но и науку об электричестве и оптике. Если еще не больше...

По утверждению доктора Кабанэса, Марата должно считать одним из непосредственных предшественников великих физиологов XIX-го века, Кабанэса и Биша. В его книжке об электротерапии не мало оригинальных мыслей, ясно изложенных, и научная ценность их выдержала испытание времени. Марат страстно и бескорыстно любил науку. Его называли иногда врачем «неисцелимых», и это тешило его самолюбие; в своих исследованиях он проявил независимость, граничившую порою с дерзостью. Но следует ли из этого, что он был ученым? Кабанэс утверждает, что его теория о природе огня принята теперь во всем мире, и даже Лавуазье не превзошел его в этой области. Араго более сдержан в оценке научных заслуг Марата: в его научных трудах он видит лишь «кропотливый труд», «опыты», выполненные лишь в его воображении, и «фокусничество». Из бесчисленных характеристик, посвященных Марату, разве только у Ламарка можно выудить несколько сочувственных Марату строк, в которых отмечено «ценное разграничение», сделанное этим неугомонным врачем спорщиком между огнем и светом.

В последние годы, научные труды Марата, часть их, по крайней мере, тщательно изучались. Доктор Вигуру, директор городского Института электротерапии в Сальпетриере, об-

виняет Марата в умышленно неверном учете результатов, какие давали те или иные его опыты, в замалчивании некоторых современных открытий как, например, изобретение электрометра. Он признает за ним, однако, заслугу нескольких свежих, новых мыслей, а также неоспоримое диалектическое искусство. Но тем не менее считает его «не серьезным ученым, а заносчивым краснобаем». Доктор Фово де Курмель, напротив, видит в Марате, в его работах о проницаемости стекла, несомненного предтечу Рентгена, он приписывает ему некоторые открытия, научную ценность которых подтвердили позднее работы Броун-Секара или Бруарделя. «Мы можем — пишет он, — безо всяких оговорок назвать Марата большим знатоком в области электричества и электротерапии... Слово «франклинизм», каким определяется в медицине статическое электричество, ничем не оправдано. Гораздо вернее было бы в этом случае слово — маратизм, а главное справедливее».

Профессор Трюк, из Монпелье, писал, что с точки зрения «оккулистической», Марат несомненная научная величина. Один из профессоров медицинского факультета в Лионе, доктор Дидло изучал Марата, как физика. Уже в его полемических статьях он находит те недостатки, которые так резко проявились на пути его политической деятельности: жажда славы, не останавливающаяся ни перед какими способами достижения беззастенчивость, с какою он чужие гениальные открытия называл гипотезами или робкими догадками; дерзость, с какою он нападал на противника, его безмерное тщеславие...

Из его работ в области оптики ничего почти не осталось, но считая нескольких заметок о разложении цветов.

Если война, какую он вел против теорий Ньютона, послужила только ко вящей славе гения, недоступного его нападкам, то нельзя, однако, не отметить его остроумных опытов, которые он производил с исключительным для его эпохи мастерством. В них виден подлинный научный метод, особенно в проверке имевшихся уже достижений в области электротерапии, и если выводы его остаются лишь на полях научной истины, то причина этого в самой сложности задачи.

«Научные труды Марата — пишет профессор Дидло — представляют собою несомненную ценность».

Суждение это, конечно, справедливо. Марат, не будучи гениальным человеком, каким он мнил себя, предлагая академиям «передать им факел, который он держал в своих руках», был неутомимо любознателен и, пожалуй, даже одарен научным умом. Его работе мешал его неугомонный, необузданный нрав, полемическая нетерпимость, ссоры, споры, тормозившие его научные исследования.

Немногое ценное, значительное в его научных достижениях заглушается бурями, какие он сам накликал на себя своей страстной несдержанностью.

Для того, чтобы понять, какую острую ненависть мог он возбуждать, стоит только прочитать его «Письма о шарлатанах наших дней», напечатанные в его же типографии, в 1791 г., когда, казалось, он был уже всецело поглощен революцией. Лавуазье? — Фантазер! Пиластр? — Скоморох! Лаплас? — Знаменит благодаря своей прекрасной половине! Монж? — Ломовая лошадь! Бомэ? — Торгует смородинной настойкой! Лаланд? — Нечистоплотная обезьяна! Академии? — Скопища болтунов, восседающих на лилиях, потчующих друг друга скукой и презрением, сочиняющих панегрики изобретателям прочных белил, пластырей против мозолей и мазей против клопов! Что общего имеют с наукой эти разглагольствования о наиболее целесообразной форме парика или крапа? И тем не менее, вся эта злобная исступленная брань заглушается основною гордою мыслью Марата: «Наука своими достижениями обязана только усилиям нескольких одиноких людей»...

Эдуард Эррио.

(Продолжение следует).

Перев. А. Д.

В плавильнике.

Окно.

В мое голубое окно,
В бездонное зеркало Ночи,
Мне видеть душою дано
Горение всех средоточий.

Я вижу, как ходит Луна
По этому синему полю,
В душе восстают письмена,
И мысль в них скитается вволю.

Я вижу сплетение сил
В их тайне, в Безбрежность внедренной,
Идут хороводы светил
В Бездонности, с духом созвонной.

Вращаются Восемь Лампад,
Лишь семь различаю я оком,
Мне звездный поет водоскат
О вечном, о мудром, глубоком.

Я вижу колодец веков,
Мерцая, дрожит коромысло, —
Чтоб смысл их для мысли был нов,
Меняются в пламенях числа.

Вулкану сверкает вулкан,
В одной лучевой водоверти,
Там вечно-живой океан,
Там новые жизни из смерти.

Погасший проносится шар,
С потухшим встречается шаром,
Чтоб вдруг, в тайнодействии чар,
Двойным разразиться пожаром.

В оконченном смерть глубока,
И в сшибке две тьмы закачало, —
Два солнца зажглись из толчка,
Конец распалился в начало.

А снизу, и сверху, кругом,
А всюду, и слева, и справа,
Один огневой водоем,
Единая звездная слава.

Где красное — вихри страстей,
Где белое — бездна зачатий,
Всё русла и русла путей,
Всё разные смыслы печатей.

Из пламени — вскипы воды,
И жизнь — в огнеплещущей яме,
Звезда говорит до звезды
И чертит скрижаль остриями.

Гори, победительный свет,
За чашей да здравствует чаша,
Я счастлив, что много планет,
Где счастие глубже, чем наше.

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ.

Природа являет в несчетной игре и в рядах перемен
Все то же строенье и вновь разрушенье и окон и стен.

Природа слагает и вновь разлагает свой строй без конца,
Всегда сохраняя одно выраженье иного лица.

Простонет-ли тигром, змеей проползет-ли, споет соловьем,
В ней все — равновесье, упругая воля в свершеньи своем,

И кит-ли в глубинах, и мошка-ли в полдне, и горный-ли склон,
И ход-ли самума, — им всем в самоличьи единый закон.

Не больше, не меньше, а только и столько, из бездн пустоты,
Вскипает хотенье, замкнутая цельность, и четки черты.

Природа допустит, Природа посмотрит, построит, — живи,
Природа посмотрит, как ты захлебнешься в воде и в крови.

Ты голубь-ли сизый? Ты коршун-ли черный? Дорога одна.
Живите. Умрите. Картина возникла. И нить сплетена.

Пребудь динозавром, твори суматоху насилий и бед.
За сменой столетий посмотрит ребенок на странный скелет.

А в этом ребенке, что хрупок как стебель, страшнее беда:
Взростет, — и в забаву разрушит народы, сожжет города.

Но пеплом пожарищ умножена сила творящей земли.
Из тела-ль Шекспира, из праха-ль вампира, цветы расцвели.

В тот час, как Везувий Помпейскую славу засыпал — для нас,
Не пело-ли Море, не пели-ли птицы все тот же рассказ?

Вся жизнь мировая в бессчисленных сменах своих перемен
Есть явленный лик и творимая ткань, и разрушенный плен.

Наполни бокал мой, как кровь темнокрасным, старинным вином,
И буду я славить на флейте нежнейшей и вихри и гром.

———

К СВОЕЙ ПАМЯТНОЙ КНИЖКЕ.

Красная книга прекрасных часов,
Стройно согласных с мечтаньем.
Звук из сплетения всех голосов,
Реющих всем Мирозданьем.
Красный мой угол для зоркой души,
Все мои встречи с тобой хороши.

Ты мне калина родимых лесов,
Ты мне цветок при болоте.
Рог перекатный и всклики и зов,
Красная дичь на охоте.
Алое яблоко в позднем саду,
Пламя костра в застонавшем бреду.

Гроздья рябины осенних часов,
Осыпь румяной брусники.
Бег до верховий от самых низов,
Струг в нападающем всклике.
Кровь, но мою, не чужую, я жгу,
В красной заре, на крутом берегу.

К. Бальмонт.

Стихи о Москвии.

Татьяне Дриженко-Турской.

1.

Я путешественник и чужестранец.
Москва! Москва! — ты лебединый крик,
Зима, морозный на щеках румянец.
Веду в дороге путевой дневник:
С пейзанами в харчевнях разговоры,
Поет на петлях дверь, клубится пар.
Глаза — большие синие озера,
И песенку заводит самовар.
А люди — великаны, бородатый
Знакомый с чернокнижием народ;
Войдут — садятся, бороды — лопатой,
И чашка водки по рукам плывет.
Проезжий поп — о вере: стол дубовый
Гудит, в огне лохматом голова,
Текут из рукописных часословов
Латынью варварской его слова.
Но хлопая ладонью по мушкетам,
Разбойники глядят, как темный лес,
И с петушиным пеньем, до рассвета,
Седлать коней уходят под навес.
Зачем же тихим, тихим океаном
Душа взволнованная назвалась,
Гостеприимным паром и приманом
С мороза в теплых горницах дымясь?

ГОС. ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА Ленинград

Скорей, скорей, все дальше, леденея,
Мечту вздувает ветер, снег валит. —
Ладьею дымной, солнцем в эмпиреях
Московия навстречу мне летит.

2.

Приехали и кони наши — в мыле.
Так вот она — величья колыбель!
Я говорил волнуясь о светиле,
Что каждый день встает из их земель.
Смеялись добродушно московиты:
— Зима у нас, ослепли от лучин... —
Но видел, что гордились домовитым
Кремлем и ростом сказочным мущин.
А Солнце! — розовое спозаранок —
Рукой достать! Какая красота!
Вот почему в глазах московитянок
Волнует ласковая теплота.
Как полюбил я русские рубашки,
За чаем разговоры про народ;
За окнами трещит мороз, а чашки
Дымят, и голос мне грудной поет.
Колокола к вечерне надрывают
Всю нежность теплых бархатных басов, —
В них жалоба такая же грудная
На жаркие подушки теремов...

3.

Необычаен этот милый город —
Весь розовый в кострах и в серебре,
Где вспоминают Индию соборы,
Грустят о нежной дорогой сестре.
Озябла стража в инее мохнатом,
Скрипят полозья, и бежит народ
На башенных кремлевских циферблатах
Судьба векам счисление ведет.
Индейская царевна в смольных косах,

Улыбка бронзовых блаженных губ! —
Твой жаркий бред — крещенские заносы,
Медвежий храп и дым московских труб;
А за прилавком, щелкая на счетах,
Поверх очков блюдет свои права,
Косит на черных Спасов за киотом
Зависливая мудрая Москва.
О путник любопытный Олеарий,
Записывай, какие видел сны,
Пиши, что нет на всем подлунном шаре
Такой прекрасной и большой страны!

Ант. Ладинский.

———

Ita vita.

Посвящается О. К.

I.

Когда жизни только семнадцать лет, когда в руке карабин и от каждого выстрела болит плечо; когда шашка ударяется о сапог не просто, а для гордости, радости и мечты, — тогда мир — и все что в мире: конь, человек, дерево, птица и дорога — поют особенную хоровую песню, которая смолкает у письменного стола в скудный час, когда даже перо жалуется на зубную боль.

Когда глаза по петушиному хорохорятся при взгляде на отступающие цепи неприятеля; когда глаза делают почти невозможное усилие одинаково равнодушно смотреть на чистое белье в покинутой деревне, развешанное на веревке неделю тому назад и на грязное белье, прилипшее к трупу час тому назад, — тогда мир и песня иные, совсем не похожие на слова из книги Брэма и на слова из детского песенника. Тогда даже небо делается облачным только от разрыва шрапнелей, и по ночам вместо звезд — огни снарядов и вместо непогодного грома — орудийный залп. Когда свистом и пением птиц заняты только пулемет и винтовка — там, а здесь — единственная музыка: урчание селезенки скачущей лошади, да стук карабина о кобуру нагана. Страшен мир, страшна солдатская песня с улюлюканьем, бабьим криком и свистом в два пальца. Ни по чем моя жизнь, пропадай моя головушка, лети стрелой, мой конь, — сапог примерз к стремени, колени вдавились в потные бока — пуля не выбьет с седла — татарва трусливая, Чингис-Хан косоглазый, держись!

II.

Есть час, прекрасный час тишины и мирового уюта в этой хоровой песне. Шесть дней сон врасплох застигает на седле, усталость клонит к гриве коня, как пассажира в душном третьем классе, когда голова раскачивается точно на плахе в руке палача; — шесть дней бреда, от которого не пробудит ни пуля, ни снаряд, равнодушия, тяжелого и чудного, к тому: куда? зачем? и скоро-ли? — шесть дней и шесть ночей похода, когда смены уже не ждешь, ибо все, остальное, далеко покинуто позади; — и вот после шести дней дорога взвивается вверх, встает на холме город, точно из иного мира, который был до всего этого. Устало и лениво разрывается последний снаряд, ложится спать в траву последняя пуля, и машет крыльями ангел, прекрасный вестник, и бодрым трубным голосом кричит о том, что город оставлен противником. Вскидываются головы — где запевало? — скоро час отдыха, час настоящего сна. Веселые квартирьеры шпорят коней, облако пыли — понеслись! Откудато появляется небо впервые за шесть дней, напухает легкими настоящими облаками, края и западины свои отдает солнцу; соборный купол на холме перемигивается с золотым краем неба; воздух запевает лихую солдатскую песню. Выворачивается наизнанку кисет, тщательно собирается каждая крупинка махорки, прыгающие пальцы нежно сворачивают любезную цыгарку, и вместе с песней, воздухом со всех лесов по горизонту большая, как мир до северного полюса, затяжка. Час отдыха, час близкого сна!

Вот глаза в спешном порядке — не упустить! не упасть! — хватаются за все, что крепко стоит на ногах. Я еще умею читать — и удивительно, как не забыл, чему учили восемь лет. Вот — «Пуш-кин-ская ули-ца»; вот; «ба-ка-лей-на-я тор-гов-ля Раз-до-рова»; «первая городская женская гимназия» и воспоминанием: грандиозный бал с конфети, серпантином, летучей почтой, лотереей - аллегри и конкурсом красоты; танцы до трех часов ночи, ах, вальс «На сопках Манджурии» — «мадам, а гош, месье а друа, силь ву плэ!» — «Нина, я люблю вас, Нина, приходите завтра на Пушкинскую» — ой-ра, па-де-катр — «какой ваш любимый цветок?»

Вот: городской парк; «там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребляла лугами своими светлые Лизины волосы, которыми играли Зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем.»

— Первый взвод! Справа по одному, левое плечо — ма-а-арш!

На окраине города: двухэтажный, в розовую досчатую полоску, — дом. Через забор пытается перелезть виноград, выбивается из всех своих растительных сил — тщетно. Милый, хочешь помогу? Цветет герань, и как ей не цвести, когда весь дом штурмуют ветви, листья и травы. Во весь свой маленький садик разбросалась сирень. И еще многое, что так хорошо в саду и так нудно здесь.

Вдоль карабина по спине ползет сентиментальность, ежит плечи, щекочет нос, задерживается у губ, сжатых иронией и исчезает в пыльном поту лица.

— Сле-зай! Карамзин и Стерн, по квартирам!

На калитке — около надписи: «остерегайтесь собак» — размашисто, рукою Дениса Давыдова, мелом: «шестой эскадрон, два человека».

Вытягиваю из стремени мертвую чужую ногу, последним усилием лихо соскакиваю. Земля! Твердая земля! Мертвые чужие ноги вяло гнутся под тяжестью тела, волочу их к калитке, и в сад, в сирень, в зелень — к крыльцу. Конь у стойла — спокойной ночи! Сон из-за угла корридорного нападает до постели, и когда комната слишком комната и когда постель слишком постель: в кружевах, в пуху, — ложусь на ковер. Сил хватает только на один сапог: кто-то сжимает руки, не отпускает, — брякаюсь с размаху, гусарской шашкой, в крепкий сон.

III.

Благословенный час! Тот же кто-то снял с ресниц ночь и сон; подымаюсь: утро, полдень или день — никогда не узнаешь. Обои плывут с пола на потолок нездешними узорами воспоминаний: мягкое, голубое, детское. Чья это комната? И когда — через какие двери впустил меня апостол Петр? Раз-

бухший от бабушкиных подвенечных платьев, ворчит комод; булькает этажерка с бонбоньерками, ловя кисейное солнце сквозь гардины окна. Тихий, давно забытый, мотив комнатной элегии.

Подымаюсь, и вдруг глаза ударяются о книжную полку: не выдержал, прослезилось в душе старинное; подошел, боязливо ласкаю корешки переплетенных книг: Фет «Вечерние огни», Диккенс «Крошка Доррит», Блок «Стихи о Прекрасной Даме». Подавленный неожиданностью, перед таким врагом отступаю в себя, опускаюсь на стул и медленно повторяю дорогие, еще не расстрелянные во мне, имена. Всю ночь без сна и вдруг на утро снится такое, огромное, непомерное, и снится долго, без конца, и волнует, и радует: о только не проснуться бы.

Стук в двери. И никогда бы не понял, что значит этот стук и долго бессмысленно смотрел бы на дверь, но Блок, Фет и этот сон подсказали:

— Войдите.

И сам удивился, как не забыл и как это сразу понял.

— Доброе утро. Я принесла вам кофе.

Странное произнесенное слово как-то тихо, легко, беспомощной пушинкой одуванчика повисает наверху — над книжной полкой. Приподымаюсь, ловлю пушинку рукой, долго в задумчивости держу ее на ладони и потом незаметно, почти неотделимо от безмолвия и речи, говорю эхом чужого голоса, тем пойманным ладонью словом, и ныне снова забытым.

Она — в нерешительности; поднос в руках: что-то дымится и круглое пыхтит от аппетита. Куда поставить поднос? Нужно раньше что-то ответить, — и вдруг быстро, как на школьной скамье, когда не знаешь урока, спасаясь в надежде, что ослышалась и учитель задал другой вопрос из более знакомого:

— Ах, почему у вас постель нетронута? Вы не спали на ней?

— Да, я спал рядом, на ковре. Там слишком чисто и мягко.

Через полчаса поднос нашел себе место, но где-то в захолустье, в забытом месте, — и тосковал в одиночестве, хо-

лодея и застывая. Он с ревностью смотрел, как ласкались и по самоварному ворчали раскрытые книги, и как люди ласкали, любили их, забыв о нем. А какие слова загромоздили всю комнату, перемешались с солнцем, с ливнем цветов на обоях, с потоком узоров на гардинах, и как это все потопило двух людей, склоненных за столом, — пропоют на утре другого дня солдатская песня, пыль от эскадрона и первое донесение о наступающем противнике.

Так началась любовь. Но завтра — в поход. Оставим идиллию.

IV.

Я вышел на улицу. Только теперь проснулся, апостол Петр прогремел ключами, закрывая дверь ее комнаты, и глубокий вздох в свидании с сладким зевком обворовал всю сирень и герань из сада. И лишь папироса сумела вернуть обворованному саду только ему принадлежащий нерукотворный запах.

Я оглянулся: мимо пылью стелется, изгибаясь и нежась в солнечной ванне, сонная дорога; вправо вниз, вначале спотыкнувшись о картофельное поле, бежит, гонимая солнцем и ветром, пшеница; влево бесстыдно разбросался домами, улицами и садами неряшливый город.

Я — на берегу. Смотрю, как проносится легкая зыбь по пшенице и потом как взметнувшись валами перекатывается и хлещет в меня брызгами огня, золота и жары. Какой прибой! Захлебнуться в нем, утонуть и на дне все увидеть наново: комнату, стол, книги и ее в комнате за столом над книгами.

Сияющие глаза, обхватив все до горизонта и еще дальше, сложили крылья и легли на дорогу. Отдыхали не долго.

По дороге— навстречу — группа людей. Дорога прямая вверх; их не было видно раньше и возникли они сразу, точно выползли из близких кустов, встали на ноги и вот теперь идут. Или их после кораблекрушения выбросил пшеничный прибой? Рваные солдатские гимнастерки, фуражки, завалявшиеся в интендантском складе, сапоги, точно из дерева, обмотки, замотанные месяц тому назад, — грязные усталые

лица, принявшие пыль многих дорог. И шли они, пытаясь придать себе вид людей, у которых дома все благополучно.

Они увидели меня и сразу приняли меня в себя с ног до головы: очевидно, дико: ведь это — пропасть, гибель, но нельзя выдать себя хоть одним трусливо метнувшимся взглядом, хоть одним неверным шагом. Я понял все, это шло с ними и давило их, и они поняли, что мне все ясно, но продолжали игру. И даже тогда, когда все до последнего увидели, как моя рука отстегнула кобуру нагана, один, толстенький, круглый, семенивший сбоку, судорожно мотнув рукой вправо, спокойно сказал:

— Пшеница то, братцы, какая!

Все, точно по команде, разом страдальчески улыбнулись, ласково повернувшись к полю. Высокий, худой, с бородкой Чехова посветлел, точно уже все прошло, когда еще только начиналось, и интеллигентным, книжным баском аукнулся:

— Да, урожайный год.

Еще оставалось несколько шагов и там снова пустынная дорога. Все просто, хорошо. И перед такой возможностью уже можно было доверчиво взглянуть в мою сторону и быть может даже перекинуться шуткой. Ну чего им стоило: согнуться зайцем и прыжками через канаву, по картофельному полю — потонуть в пшеничной буре. Я б остался стоять на месте, улыбаясь счастливому исходу тяжелой игры. И никогда не прощу, не приму — и в памяти выжег проклятым тавром — свои неожиданные слова и безвольную дикой волей свою руку с наганом:

— Стой! Кто вы такие?

Кончено. Что-то оборвалось, что-то разом смазало с дороги — в пустоту.

Остановились, глядя той же доверчивой улыбкой: ведь это же все — только шутка. И лишь тот, круглый, толстенький — запомнилась синяя ситцевая рубашка и широкий пояс с карманчиком для часов — испуганно подпрыгнул и быстро рванул обе руки вверх.

И так стояли, оглядываясь друг на друга, молчаливо вырывая из себя хоть какое-нибудь слово. Молчать с ними я не смог бы и одной минуты:

— Какого полка?

И кто-то, точно соболезнуя себе, тихо и радостно промолвил:

— Мы — мобилизованные.

Все закивали головой, бессмысленно полезли в карманы за документами. И только Чехов, простившись с улыбкой, спокойно посмотрел на меня.

V.

Их было семь человек. Они жались в углу комнаты и недоуменно переглянулись, когда я предложил им сесть на стулья. Недоверчиво сели, и каждый на краешек стула, а толстый в синей рубашке неожиданно соскользнул с него и шлепнулся на ковер, испуганно глядя на меня. Одна из бонбоньерок с этажерки упала на пол и разбилась. Новый испуг. Я не мог не улыбнуться — и за мной улыбнулись все, а толстенький даже громко хихикнул, все еще сидя на полу, в растерянности не зная подниматься ли ему. Кто-то ткнул его ногой сзади и он быстро привскочил. Это было началом пробуждения всех к обычному. Тяжесть как-то сама собой ушла за двери; неловкость слов, движений, жестов постепенно исчезла, и несколько моих шуток повисли над всеми легкой мыслью о конце страшной игры и начале освобождения.

Через час в комнате гудел плавный басок Чехова: мы пустились с ним в длинное странствование по книгам и людям и радовались, когда оба натыкались на знакомые, родные места, соприкасаясь чем-то близким друг с другом. Быстрота странствования все усиливалась: мы менялись полусловами, формулами, первой строчкой стиха, или красной строкою прозы. Молчали все. И только ворчливый самовар на столе продолжал поддакивать нам, пыхтя в отдышке паром и теплом, обнимая всех радостной тоской по уюту, тишине и дому. Толстый хлопотливо дул в блюдечко, чмокал куском сахара, заложенным в надутую щеку, напоминая смешного сказочного гнома. Он развязал свой широкий пояс, и мне мельком показалось, что его брюшко выскользнет из-под освобожденной рубахи и блином шлепнется на пол, дымясь горячим чаем. Два моих товарища по эскадрону друже-

любно угощали гостей и шептались за моей спиной о том, где бы достать бутылки две вина.

Переполненный, в паузе одного спора, я открыл окно. Превозмогая лень и сон полдня, водопад голубого воздуха бился в окно; по нисходящим уступам облаков, холмов и долин — через запруду горизонта — низвергался — напором радости — аллилуйный невидимый сток. Солнце катилось по стоку прямо в мои глаза; я хватался за подоконник, ибо принять такого гостя не было сил.

Вдруг — за собой — я услышал что-то знакомое, громкое. Я быстро повернулся. Глядя в мою сторону, улыбаясь мне, Чехов пел Gaudeamus. От неожиданности, заженный сразу, я подхватил:

— Gaudeamus Igitur.

— бросился к столу и, проглатывая слова:

— Друзья мои, все вместе — песни — достанем вина. Гном, труби, запевай что-нибудь нежное, украинское.

Заколыхалась комната, зацвели обои, задрожали бонбоньерки, старчески забрюжал комод, подвенечные платья запросились к нам в полонез, слова с книжной полки поползли по стенам к нам в хоровод, — вырвалась в поле из окна, сорвав гардину, и побежала по травам украинская песня.

Чехов взял мою руку, и из колыхающегося песенного мира я услышал его слова:

— Никогда не забуду этих часов, этой встречи и вас, мой нечаянный друг, перевернувший все мое представление о тех, с кем воюю второй год.

Так начиналась дружба. Но завтра — в поход. Оставим...

VI.

— Послушай, ты кажется забыл доложить о пленных ротмистру?

— Ах — да!

То, что я все время боялся напомнить самому себе, напомнили другие. Я знал, что с этим напоминанием снова надвигается тяжесть. Безвольный, овитый хмелем, я поднялся

со стола, вяло улыбнулся Чехову, взял карабин и вышел из комнаты.

В тусклой передней кто-то прикоснулся к моей руке. Как-то разом все только что бывшее ушло и то, прежнее — в комнате — среди книг — в тишине, снова из тридевятого царства вернулось. Я радостно смотрел на нее в взволнованном путешествии по словарю ненужных слов в поисках хоть за одним, нужным.

— Простите, я хотела спросить вас: им ничего не будет

— Нет, что вы! Что же им может быть?

—У нас по городу ходили слухи, что вы в плен не берете, что вы пленных...

— Что вы! Мало ли что говорят. Их отошлют в тыл, или просто зачислят в один из пехотных полков.

— Спасибо. Я так волновалась. Они удивительно милые, неправда-ли? — и через паузу, уютно, клубком, свернувшись в моем сердце: — Можно я провожу вас до калитки?

Калитка была гораздо дальше того места, где ее построили. Мы шли по дну воздушного моря, прикрытые одним колоколом нежности и улыбки. Видели только друг друга: весь мир располагался за стенами нашего колокола. Здесь было так тихо, как никогда не бывает там. И тише этой тишины были только наши слова, не произносившиеся, а расцветающие, как сирень в ее саду, как цветы на обоях ее комнаты.

И не помню, кто снял с нас воздушный колокол, и когда снова стало шумно, и почему я один шагал по улице, улыбаясь всему, что двигалось навстречу. И вспоминаю только, как потом — на одном перекрестке — сразу встало другое, и как я перестал улыбаться.

Ноги буквой О, квадратные плечи и длинная шея с маленькой сморщенной головкой, вздернутой выше носа, — микроскопический бронтозавр ковылял мне навстречу. Он был не один: впереди него, в шагах пяти, семенил почтенный старик с брюшком под золотой цепочкой, от которого несло домашним уютом двадцати почтенных семей. Его козлиная бородка испуганно растрепалась и все время тянула голову назад — в сторону настигающего зверя. Когда старик отставал, бронтозавр, предательски изогнувшись, ощерясь зубьем,

с размаху, ударял его сзади прикладом карабина с визгливым ругательством, — а старик, высоко подпрыгнув, семенил быстрее, бормоча:

— Это ошибка, ваше благородие — я земский врач — тридцать лет работаю в уезде для народа — меня уважают и знают все.

— Молчи, Иуда!

Увидев меня, бронтозавр остановился и кивнул головой:

— Вы ко мне?

— Да, господин ротмистр.

И сразу меня потянуло сказать другое, о кормежке коней, но сами слова перескочили мысли:

— К нам пришли семь перебежчиков.

— А-а-а, о-очень приятно! Великолепно!

— Господин ротмистр, они мобилизованные, у них есть документы.

— Великолепно! — и, изогнувшись, он ударил врача, с облегчением остановившегося отдохнуть.

— А ну — рысью ма-арш!

Так подошли мы к дому, где цвела герань.

Из открытого окна неслись песня и улюлюканье.

Ротмистр удивленно остановился:

— Кто это поет?

Я молчал.

VII.

Удар ноги распахнул дверь. Через порог мешком упал земский врач. Мгновенно наступила тишина. Все, сидевшие в комнате, медленно приподнялись.

Ротмистр победно оглядывал всех, весело улыбаясь.

Заключительная мертвая сцена гоголевского «Ревизора».

— Песни поете?

Впереди всех стоял Чехов. И трудно забыть, когда, недоуменно спасаясь, он хотел зацепиться за мои глаза — помню взгляд вопрошающий, спокойный, но уже все понявший: вопрос, не ждущий ответа, — я трусливо опустил глаза.

— Песни поете?

И — я до боли стиснул свои зубы — бронтозавр диким движением, прыжком —широким размахом ударил прикла-

дом карабина в лицо Чехова. Земский врач с застывшими глазами влип в стену, вот-вот, как колдун из «Страшной мести», исчезнет в стене.

Хмель, дым папиросный, карусель изогнутых тел, крик и визг, и, наполовину уже исчезнувший в стене земский врач, чья бородка металась по комнате, опрокидывая стулья, валя на землю людей, — все — о, далеко не все! — врывалось в меня, кружась под звук шарманки, опрокидывая стулья во мне, истекая кровью и зубами, валясь на землю во мне — и меня самого прижимая к дверям.

— На улицу все по одному — ма-арш! Карабины!

Так — пропуск и там — тогда и тут — сейчас. От калитки — пройти дорогу — через канаву — на картофельном поле — семь трупов.

И если есть кому-нибудь охота вспоминать, то вот: Чехов первым перешел дорогу, перекрестился и спиной, голову втянул в плечи, застыл — потом оглянулся: «да скорее же!» Гном, волчком перекатываясь, тихо повизгивая, оглядываясь по сторонам; у канавы, перед тремя трупами — стойка, и когда выстрел — прыжок вверх и быстро — по картофельному полю; догнала вторая пуля. И, наконец, последний лежал полуживой — его достреливали: пуля первая подбросила тело вверх, пуля вторая перевернула на бок и после третьей пули хриплые слова мертвого:

— Я — Тульской губернии.

VIII.

Час спустя, после того, когда я отвез в больницу полумертвого земского врача, отравившегоя цианистым калием (о это скучная для слов история), я возвращался к дому, где цвела герань.

У калитки стоял мой конь и рядом лежало седло. И снова в тридевятом царстве повод коня — в ее руке. Я быстрее пошел к ней отдохнуть от всего, что отняло сегодня и встретить то, что подарило сегодня. Прямо, открыто смотрели на

меня глаза, подчеркнутые сверху одной прямой двух бровей. Я блуждал по ним ласково — и вдруг понял, слабо улыбнулся и трусливо замедлил шаг.

Вечерело, и уходило солнце тяжелого дня, — но это я заметил потом.

Я хотел что-то сказать, разыскать слово, которое вернуло бы далекое утро и начало большого. Но голос дрожащий, гордый, звонкий — голос чужой:

— Я не пущу вас в свой дом.

И тогда я сразу увидел и презрение, и брезгливость, и ненависть.

Спотыкался глазами о землю и молчал. Комната, комод, этажерка, книги, обои — и жалобной песней, эхом другого голоса — в себе, про себя: оставьте меня, мне только семнадцать лет.

Трепетной рукой, рукою школьника с мелом у экзаменационной доски, я потянулся к поводу, не глядя, боясь взглянуть, боком повернувшись ко всему миру. Потом поднял седло, выпустив повод, и пошол. Конь сам, цепляясь ногами о повод, побрел за мною.

— Простите, одно слово. Можете не отвечать. Что сделали вы с земским врачем?

Конь положил морду на мое плечо. Я обнял его. Какое нам дело!

— При попытке к бегству... Молчите.

— Нет, я отвез его в больницу.

И вот, изгнанные, брели: я и конь. И теперь снова увидел, как земля потеряла небо, как снова, как вчера, мира не было, как взорвалась где-то низко шрапнель и «облако» вместо облака встало над домом и как одинокий раздался выстрел — вечерняя вестница ночного боя. По улице проходила пехотная часть, клубясь зеленым сукном и пылью — туда, за холмы — к вечерней вестнице.

IX.

Наступал чуть слышный, но большой ночной мир с шорохом и ропотом, огромным осьминогом полз по холмам, обнимал сады, подступал к городу и дымился вдоль стен пустынных улиц страшной дикой скукой ночного быта.

Я стоял на часах. У канавы — на картофельном поле — семь трупов белели нижним бельем: кто-то уже успел с них снять сапоги и одежду.

Одно окно в доме горело, бросая тень на дорогу: значит кто-то не мог уснуть.

Наверху — зарево от пожара; за лесом светлый дым горящей деревни. Дальний гул боя замирал в громкой тишине ночи.

Я шагал по дороге, считая шаги: сто туда, сто обратно, путая счет и ссорясь с собою и с арифметикой. Но ни шаги, ни ссоры, ни глупая арифметика, ни даже спичка и двадцатая цыгарка не могли убить, вставший в темноте, прожитый день. Бросал глаза по сторонам, впивался рассмотреть, чтобы все было видно ясно, хотя бы близкое — и только спиной и затылком к тому, что лежало на картофельном поле.

Когда скурилась без меня последняя цыгарка, я ползал по земле, собирая свои окурки и долго сворачивал из трех — одну.

О как долго до рассвета! Темнота давит глаза и слипается с ленью ресниц, и сон ударяет по ногам. Дремлешь и не спишь, шагаешь и дремлешь, и все, что днем называлось жизнью, теперь — глухая дремотность, и наваливается сверху, с боков и откуда-то снизу.

А глаза кто-то ловит в сети и тянет, упирающихся за каждый придорожный камень, туда — к картофельному полю. И уже все стороны за спиной, за затылком, и только одна сторона встает.

Так ждал и знал, сквозь туман и дрему, все шире и шире открываясь, вижу,

как один из семи мертвых в белом подымается над полем, застывает в недвижимости и потом медленно плывет ко мне прямо на дорогу.

Закрываюсь рукой и веками, как в тяжелом сне, превозмогая себя последним усилием — проснуться бы. Тщетно.

Идет. О, как идет! Я вижу лицо Чехова в полосах крови, растегнутый ворот нижней рубахи, нет, не рубахи: ворот окровавленного тела; глаза неиз-

бывные, прокалывающие темноту, меня и все, что закрыто ночью до горизонта.

И прошел мимо, близко, почти касаясь, дохнул холодом и сыростью — и дальше по дороге, растворяясь в спрутах ночного осьминога.

И только по следам — святым облаком — под: долго, долго шевелилась взволнованная дорожная пыль и — над: нимб зарева; — и только легкий ветер принес из темноты — неясным шорохом — слова:

— Gaudeamus Igitur.

На рассвете — на картофельном поле — вместо семи трупов лежало только шесть.

X.

Днем по улицам города, по Пушкинской улице мимо женской гимназии растерянно бежали пехотные части, на подводах везли раненных, гремели по мостовым трехдюймовки — беспорядочной толпой отступали войска.

По холмам шли лавы противника, кольцом окружая город.

Наш полк развернулся на окраине — веером и пошел навстречу — к холмам — в конную аттаку — прикрывать отступление.

Вой, который на парадах называется криком «ура», шашки кругом по воздуху, голова — к гриве коня, — ни по чем моя жизнь, пропадай моя головушка, лети стрелой, мой конь — татарва трусливая, Чингис-Хан косоглазый, — держись!

Бронислав Сосинский.

Очерки трех литератур.

2. Жан Жироду.

Не знаю, знакомо ли это всем пишущим людям, но у некоторых критерием «хорошей» прочитанной книги бывает — хочется или не хочется самому после нее писать. Чрезвычайно заманчивым казалось писать после новелл Мериме, рассказов Вилье де Лиль Адана, романов Анри де Ренье! Все это не очень большие, конечно, книги, не подавляющие ни гениальностью, ни совершенством, однако, книги искусства, заражающие любовью к словесному построению, к художественному «воображению». В отличном их ремесле был очевидно силен «братский дух», объединяющий всех знаменитых и неведомых, блестящих и скромных, определившихся и еще неуверенных, людей одного ремесла. Такие книги в руках рядового пишущего человека — тоже, что работа прекрасного исторического мебельного мастера в руках старательного столяра.

Книги Жана Жироду, читаемые со столь острым иногда интересом, столь напряженным вниманием, не вызывают никакой охоты писать. Что то «размагничивающее» есть в них по отношению к токам писательской энергии. От них в этом смысле как бы опускаются руки. Можно ли заключить, что следовательно книги Жироду плохие книги? Не слишком просто ответить на так, слишком упрощенно, поставленный вопрос.

Жироду явление довольно сложное, вернее, явление какой то сложности. Менее всего в нем заметно желание простого или естественного, ибо то, что называется часто есте-

ственным, было бы в высшей степени неестественно для него самого. Надо признать, что этот писатель действительно не может ни подумать, ни сказать чего нибудь «по просту». Но за это его никак нельзя осудить лишь частично; тогда уж надо отвергнуть его целиком и вовсе закрыть глаза на его книги. Решиться на это значило бы, однако, закрыть глаза на чрезвычайно яркие страницы современной литературы.

Жироду не внушает охоты писать вероятно оттого, что для писательства нужна некоторая сосредоточенность, его же книги внушают нам сонмы рассеянных, несобранных, неуспокоенных мыслей, образов, впечатлений. Самые названия книг Жироду иногда беспокойны и как то ненадежны. Наверно не было ни одного человека, который не переспросил бы, услышав в первый раз название «Siegfried et le Limousin», или «Suzanne et le Pacifique». «Сюзанна и Тихий Океан» — это никак не выходит по русски, но столь же нестройно выходит это и по французски!

Стройности, складности Жироду вообще не ищет, это ясно, не только в названиях, но и в замысле и в самом построении его книг. Последняя и самая замечательная из них, «Белла», снабжена подзаголовком «Роман». Но что такое в сущности «Зигфрид?» Изображение после-военной Германии на фоне характеристик Германии довоенной? А «Сюзанна?» Картины тихоокеанского острова увиденные глазами французской светской девушки? Не есть, ли это лишь своеобразная форма журнализма и репортажа? Обеим книгам придана, однако, и сюжетная интрига. В «Зигфриде» французский писатель, уроженец Лиможа, Форестье подобран на поле сражения, потерявшим память о прежней жизни. Он подобран немцами и возвращен ими к жизни как немец, Зигфрид, каковым он и сам считает себя. Его друг пускается на поиски его в недре Германии, успевая в конце концов вернуть его французом в родной Лимож. В «Сюзанне» сюжет сводится к тому, что героиня ее, мечтавшая с детства о путешествиях и получившая кругосветную поездку как премию за находчивость от какой то австралийской газеты, терпит кораблекрушение. Она выброшена на необитаемый остров в Тихом Океане, где живет без всяких приключений почти на двухстах страницах книги. Затем ее Робинзонада кончается

довольно обычным способом. Как видно из этих двух примеров сюжет Жироду не может сам по себе ни наполнить, ни оправдать его книг.

Но и сюжет «романа» его является тоже только вполне условным и произвольным **поводом** для изображения некоторых людей и обстановок, не менее условным и произвольным, чем беспамятство Зигфрида или кораблекрушение Сюзанны. Герой романа, принадлежащий к семье Дюбардо, давшей много замечательных людей Франции, сын государственного человека, носящего это громкое имя, любит Беллу, принадлежащую к другой знаменитой и в то же время враждебной семье, Ребандаров. Он любит Беллу и любим ею, пока она не знает кто он. Вражда семейств разделяет их, и Ребандар, стоящий у власти, собирается расправиться со своим предшественником, Дюбардо при помощи каких то компрометирующих того документов. В решительную минуту оказывается, что документов нет. Из любви к молодому Дюбардо Белла уничтожает их, после чего мгновенно умирает, пожертвовав собой. Сюжет таким образом едва ли не Ромео и Жюльетты, Монтекки и Капулетти, перенесенных в современный Париж, в ресторан Жокей Клуба и кабинеты государственных людей, подписывающих Версальский мир или ездивших на Генуезскую Конференцию.

Сюжет Беллы, взятый сам по себе, это конечно не более чем сюжет для кукольного театра. Такой всем очевидной его кукольностью Жироду только показал еще более явно, чем в других книгах, свое презрение к сюжету. Беспамятство Зигфрида, робинзонаду Сюзанны, самопожертвование Беллы читатель должен принять как совершенно открытую условность, как вскользь брошенный повод для тщательного написания многих страниц, плотно сплетенных из наблюдений и впечатлений, размышлений и чувствований. Эту условность, этот повод, никто никогда не примет за истинное содержание книги. При лаконичности сюжетной формулы Жироду, она по необходимости должна быть резко абсурдна (что лучше запоминается чем абсурд!), чтобы не потонуть, не потеряться в доставляемом автором огромном писательском материале.

Огромность материала, которым располагает Жироду —

первое, что поражает в нем читателя. На каждую из его книг идет столько всякого «писательского добра», сколько хватило бы на полдюжины писателей! Сюда относится прежде всего запас наблюдений, запоминаний, ворох прочитанных книг, опыт разнообразнейших положений и обстановок современной жизни, бесчисленных встреч с людьми и острых пейзажных впечатлений. Жироду знает тысячи вещей, которые разумеется совершенно не необходимо знать. Он понимает толк и в рисунках Пуссена (прекрасно придуманных на одной из страниц «Зигфрида») и в собирании марок («оранжевый остров св. Маврикия и полосатые, как зебры, Гавайские острова...») Без всякого труда перечислит он все существующие наркотики или все дистрикты Альзаса. Он знает, что маленький трамвай в Исландии запряжен серыми пони, что исполинский осьминог в аквариуме Батавии высасывает начисто лангуст, которых бросают ему зрители, как в наших зоологических садах бросают обезьянам орехи. Он помнит названия гор на луне и их относительные высоты и то, что в Мекленбурге красят белой краской сосны, дорожные столбы и большие камни в полях. Там, где нам вспомнилось бы, ну самое большее, стадо овец в римской кампанье, там ему чудится в Кордильерах стадо лам укрытое снегом — их головы, насаженные на длинные шеи, скорее может поразить небесный гром на этих высотах, нежели рука человека... Жироду несомненно много путешествовал и видел множество стран. Он кроме того дипломат по роду своей службы, и многое, что он узнал и запомнил, дано было ему энциклопедической подготовкой «карьеры» и практикой его служебных командировок. Но Батавия, Исландия и Кордильеры вспоминаются ему именно тогда, когда он изображает Францию или Германию. А его Сюзанна, попавшая на необитаемый остров в Тихом океане, во всем своем райском обиходе до странности стремится «проделать» современный Париж. К ее услугам ключ холодной воды и маленький гейзер горячей. Не похоже ли это на комфортабельную комнату в хорошем отеле? Тропические цветы и смолы доставляют ей знакомые по Герлену и Убигану духи, перья птиц — эгреты и паради, море—кораллы и жемчужины. Какая парижанка не позавидует ей с ее одиннадцатью сортами естественной пудры.

Так все книги Журоду переобременены бесчисленными, обязательными ненужными и беспокоящими ассоциациями. Но раз они беспокойны, можно ли сказать, что автору они ненужны, когда именно беспокойство и составляет «моральную атмосферу» его книг? В этом беспокойстве как раз секрет их особенной напряженности. Иначе, как можно было бы не соскучиться на сотне страниц «Сюзанны», где в сущности решительно ничего не происходит. Читатель, войдя, после некоторого внутреннего сопротивления в изобретательную пестроту этих книг, так до конца и остается на стороже, готовый к прыжкам завладевшего им авторского воображения. Ведь одна из причин тягости, оставляемой книгами Жираду, это просто усталость испытываемая читателем проделавшим ряд ассоциативных акробатических упражнений.

Казалось бы все пребывание Сюзанны на необитаемом острове могло быть рассказано двумя словами: великий покой. Но в ее несерьезной светской и снисходительной робинзонаде есть все, что угодно, кроме покоя. Ни одну минуту, по воле автора, Сюзанна не теряет на острове своих черт парижанки. О первобытной природе умеет она прекрасно рассказывать словами, в которых сквозят все эти черты. И здесь основной музыкальный мотив книги, тот пленивший слух Жироду диссонанс, ради которого она и написана. В конце концов нет решительно никакой необходимости, чтобы это далекое путешествие Сюзанны было хоть сколько нибудь действительным. Что стоило бы ей вообразить, переходя от образа к образу, весь свой остров, сидя в Париже? Не запоминается ли она больше всего «новой волшебницей», стоящей в ожидании спасительного корабля на берегу океана и вызывающей видения Европы, одно за другим, мучительной силой ассоциации?

Иногда ей представлялось, что посланный судьбой корабль уже отплыл за ней, но потом начинались сомнения. «Быки, которые должны были пойти на изготовление корабельных консервов, вдруг мне казались еще мирно пасущимися в полях. Третье кольцо корабельного якоря я видела вдруг недоделанным в мастерской Крезо — рабочий, кончавший его заболел гриппом и, кажется, воспаление легких ему

угрожало... Эти ничтожные предметы и однако в вечности столь же необходимые для моего судна, как и его котлы и переборки, — этот флакон с пикулями на столе капитана, этот брелок на цепочке младшего доктора — я видела их не на своем еще месте: флакон еще ждущим где то укупорки, а брелок поджидающим покупателя у часовщика в Ангулеме. Стоило только не случиться поломке в автомобиле младшего доктора на этой площади в Ангулеме, стоило ему не пойти бродить и не зайти к часовщику, и я осталась бы здесь на острове навсегда... Сколько рас сжималось печально мое серце, и это от того, что мне представлялась на вязе в горах Савойи та дикая кошка, из меха которой еще когда то сделает себе воротник мой будущий спаситель, рулевой. Или казалась мне в глубине Далекарлии заметная на снегу лишь благодаря темным местам своей коры та береза, которая еще когда то послужит для приготовления бумаги первого номера Petit Parisien прочитанного мной на борту».

Этот отрывок, чрезвычайно характерный для Жироду, не содержит ли он ассоциированные эпизоды (корабельного доктора, снежный пейзаж Далекарлии), которые по примеру Джойсовского «Улисса», грозят развиться в длинные отступления, в почти самостоятельный сюжет? Автору решительно ничего бы не стоило пустить свое воображение по той или по этой дороге. Изобразительная его способность неохотно расстается с каждой встреченной ею на ее зигзагообразном пути возможностью. Рассказ его не любит ясных границ.

Вокруг теоретически правдоподобного и жизненно абсурдного эпизода с Зигфридом, потерявшим на поле сражения свое прежнее французское бытие, Жироду изображает людей, нравы, пейзажи Германии в том умышленном искажении, которое может быть вернее и короче ведет к истине, чем обыкновенная и бесцветная фотография. «Не было ничего слишком печально, слишком унылого в этой заре. Она занималась сверкающая и корректная, как заря у Альбрехта Дюрера. На взгорьях и тронутых морозом склонах ветер, новое солнце, утреняя звезда — все то, что кажется общим достоянием целого мира, здесь веяло прямо в нос своей Швабией или Франконией... То был эпический час Священ-

ной Империи, который живет еще в Германии по утрам, тогда как романтическая эпоха там наступает лишь к полудню, а к вечеру и больше в окрестностях городов приходит время Бури и Натиска. В свежайшем воздухе я омывался средневековьем, которое преподносит нам Бавария, пробуждаясь, пока в ней показываются лишь те существа, какие не изменились в ней со дней Валленштейна... То был пейзаж, где по милости живописцев оказалось больше всего рождественских яслей и меньше всего кающихся Магдалин, больше всего избиений младенцев и меньше браков в Кане, где чаще всего видны пляски смерти и реже умирающие Адонисы, где на картинах у апостолов мгновенно отрастают брови, у дев становятся узловатыми руки и грудь перемещается кверху и у старых мегер отвисает тело... Это была Германия.»

Человек, написавший эти строки о Германии, не может быть ее врагом, ее недоброжелателем, так как при всей преувеличенной образности (не останавливающейся перед сдвигом и искажением) ее пейзажей и ее характеристик, несомненно чувствует он и ее позитическое содержание, ее душу. В этой душе много такого, над чем можно плакать, много такого, над чем можно смеяться — что делать, таков вообще человек. Но смех человеческая гордость не умеет прощать, «народная гордость» еще того менее.

«Зигфрид» вероятно воспринят многими немцами как обидная книга, как своего рода памфлет. Форестье, ставший Зигфридом одевается за окном. «Как раз напротив меня Зигфрид заканчивал свой туалет. Почти не отличный в пижаме от Форестье, он удалялся на минуту от окна и после каждого такого погружения в Германию возвращался все больше и больше одетый и все больше и больше неузнаваемый. Он, который некогда не носил другого белья кроме белого, надел на себя теперь лиловое трико, розовые нижние штаны, ярко зеленые гетры, точно снаряжаясь на какой то турнир с небесной радугой. Когда мы раздевали на войне раненых пруссаков мы находили под их защитной формой точно освежеванного человека, раскрашенного всеми яркими красками»... Зигфрид — Форестье собирается выходить из дому. «Он, который раньше просто не допускал, что может

пойти дождь, он посмотрел теперь на внутренний термометр, потом на наружный, потом на барометр и пощелкал наконец какой то горизонтальный инструмент, который мог бы быть сейсмографом...» В кабинете у Зигфрида. «Вырезанными на всем что только было из дерева, вышитыми на всем, что только было из ткани нашел я все эти пословицы, все эти изречения немецкой мудрости, которой угощают там посетителя. — Кто говорит по утрам, молчит вечером. — Кто любит ближнего, у того будут цветы весной. — Садись на меня, я доброе верное кресло из Дессау»... Зигфрид принимает гостей. «Настал вечер. Он зажег свет на дне алебастрового сосуда, на котором изображены были собаки таксы, он подал чай в чайнице, ручка которой представляла хвост сирены, он подвинул пепельницу, которая была Рюбецалем»... Эти мелочи немецкого обихода подмечены обидно, но не несправедливо, как не несправедливо подмечены и более серьезные вещи. «Ошибочно говорить о какой то Германии в мире, отличной от Германии в войне. Есть только одна Германия. Между немецким миром и немецкой войной нет той разницы естества, которая существует между французским миром и французской войной. Здесь это только различие в степени. Война не преобразует ни наших душ, (говорит немец), ни наших нравов. Фельдфебеля у нас не были вынуждены распределять между солдатами в первый день мобилизации вместе с обмотками и манерками и новые человекоубийственные чувства, как делали это в первый день мобилизации сержанты во Франции или Англии. С 1914 по 1918 год немецкие жены едва ли более чем обыкновенно обманывали немецких мужей, колекционеры фривольных книг едва ли заметно увеличили свои покупки, литераторы продолжали писать как писали раньше. Ибо как раз пароксизм и есть нормальная вещь для Германии, а вовсе не ровное течение вещей. Ее огромные реки не свидетельствуют ли фактически об ее артериосклерозе? Всегда только страсти и никогда разум! Единственный мудрец, которого произвела на свет Германия был вообще величайшим ее человеком, но он был и единственным в своем роде, тогда как в ничтожнейшем французском городке на Середиземном море, в Кассисе или Каркеранне тот самый отблеск, который лег однажды, на чело Гете и сошел

после его смерти с любого из его бюстов — этот отблеск там ежедневно ложится на лицо портового полицейского или отставного сборщика податей»...

Так думает Жироду «об этих шестидесяти миллионах существ, которые засели между галлами и славянами и которые изобрели чтобы прожить жизнь и провести время — пиво, войну, окарину и столь большое число неправильных глаголов»... Немцы едва ли простили автору эти характеристики их в большом и в малом. Но быть может их несколько смягчил последний роман Жироду, «Белла», и где его беспощадный наблюдательный аппарат и его, по самой природе своей беспощадное, слово направлены в сторону некоторых людей и дел Франции. В министре Ребандаре, заклятом враге семьи героя и в то же время тесте Беллы, молва узнает черты немецкого врага, Пуанкаре. «Я так часто читал в его речах, что он олицетворяет собою Францию, мне так часто попадалось в газетах, что Ребандар — символ француза, что положительно я начинал сомневаться в своем отечестве». Вот как говорит Ребандар свои воскресные речи при открытии очередного памятника павшим солдатам. «Прислонившись к мрамору Бартоломе, (мрамору, с холодом которого не мог бы сравняться никакой холод мертвого тела), разогретый до высшей своей температуры этим холодным прикосновением, Ребандар рассматривал смерть всех этих французов так, как рассматривал бы он смерть кого нибудь и в своей семье: для него смерть, даже смерть отца или сына, при всем причиненном ею страдании была бы прежде всего причиной к процессу о наследстве. Так, каждое воскресенье открывая свой еженедельный монумент павшим и точно думая, что убитые лишь отошли куда то в сторону, чтоб уговориться о суммах, которые должна Германия, он производил свой шантаж с помощью этого безмолвного собрания, ссылаясь на его молчание. Точно бы все умершие на войне были вновь им мобилизованы в качестве судебных приставов, чтобы на том свете тягаться с убитыми немцами за убытки!»

Эти негодующие строки хороши, общая характеристика Ребандара быть может еще более глубока и сокрушительна. «Род Ребандаров не уступал нисколько в жизненной энергии нашему роду. Два века он поставлял Франции в значитель-

ном числе высших чинов, президентов совета министров и министров юстиции. Но в то время как люди нашего рода с особой любовью останавливались на таинственных моментах обозначающих соединение двух металлов или примирение двух наций, в то время как они, не взирая на реальность все же игнорировали зло (так можно игнорировать дождь или снег, когда прогулка за город все равно уже решена) — Ребандары, все юристы и законоведы, избрали своей атмосферой то, что было во Франции преступного или законом оспариваемого. Одинаковое число Ребандаров и Дюбардо было поставлено в бронзе на французских площадях, одинаковое число улиц и рынков было названо в честь тех и других. Но хотя Дюбардо в памяти потомства оставались соединенными с тем ядом, которому они нашли противоядие, с тем газом, который они подчинили человеку, с той доктриной, которой они дали развитие, — они в глазах муниципалитетов и буржуазии гораздо менее олицетворяли правду и справедливость, нежели Ребандары, вызывавшие своим именем в памяти все знаменитые судебные процессы, где выступали они защитниками от процесса Лафарг, до Равашоля и Ландрю. От каждого из этих соприкосновений с самым злостным банкротством, от каждого из их общений с отравителями и изменниками, Ребандары рождали новые поколения еще более безупречные в смысле честности и уважения к закону... Не пьющие ничего кроме воды, все неподкупные, непримиримые, целостные в своем здоровье и в своем труде, вечно одетые во все черное Ребандары не надевали ничего из их многочисленных знаков отличия, но поверх одежды красовались на них вызывающе, видимые за сто метров, те внутренние отличия, которые именуются долгом и честностью, орденским крестом Долга и орденской лентой Патриотизма... Что меня поражало больше всего, это, что в их роду, который можно было бы проследить до Генриха II, никогда не было художников. Долг перед государством и работа для государства были единственной искрой освещавшей их мозг, и те из них, в ком искра угасала, немедленно предавались разгулу и разврату, не задерживаясь на промежуточных ступенях, которыми оказались бы живопись или скульптура»...

Никогда, кажется, не была так резко и выпукло изобра-

жена эта «порода» государственных людей — юристов, в руках которых бывала слишком часто судьба Франции. Будь эта порода единственной, было бы от чего придти в отчаяние. По счастью, если правдивы для Франции Ребандары, то правдивы для нее и Дюбардо. Описание этой удивительной (и однако «возможной») семьи посвящены первые и лучшие быть может страницы «Беллы». Повторить страницы, где изображены шесть братьев Дюбардо — великий астроном, великий натуралист, великий химик, великий хирург, великий теоретик финансов и отец героя, гуманный государственный человек — значило бы повторить существеннейшую часть книги Жироду. Нельзя не привести, однако, нескольких важных строк касающихся именно отца героя. «У Ренэ Дюбардо, моего отца был еще другой ребенок кроме меня, это была Европа. Когда то она была старшей в нашей семье, но после войны сделалась младшей. Вместо того чтобы говорить мне о ней как о старшей сестре, достигшей известного возраста и опыта, почти уже устроенной в жизни, отец произносил ее имя с нежностью несколько большею, но и с несколько большей тревогой, говоря о ней как о девушке, еще не вышедшей замуж, для которой и мои мнения, мнения совсем еще молодого человека не казались ему бесполезными. Мой отец был, если исключить Вильсона, единственным уполномоченным в Версале способным восстановить Европу с некоторым великодушием и он был, уже без всяких исключений, единственным там для этого компетентным». В противопоставлении Ребандару великодушный и компетентный Рене Дюбардо оказывается не только великим государственным человеком Франции, но скорее великим человеком новой Европы, великим европейцем наших дней. В этом построении своего положительного идеала Жан Жироду выказывает себя не только глубоко человечным, но и остро современным писателем.

Однако все это публицистика, даже если это превосходная и меткая публицистика. Где же роман? Романа конечно нет, несмотря на подзаголовок стоящий под очень искусственным и явно не живым именем Белла. Романа нет, но есть превосходные сцены, встречи, характеристики, есть удивительно написанные отрывки из так и не написанного романа «Беллы». Нет Беллы, но есть очень запоминающиеся, най-

денные бережной рукой ее черты, отмеченные иногда почти нескрываемой автором печальной нежностью. Есть первые встречи с Беллой в деревне, молчаливые прогулки в полях («Когда я должен был уехать в Париж у нас не осталось других воспоминаний об этих двух неделях, кроме длинных до бесконечности дней, ничем не закрытого горизонта и нашего бессловесного языка; мы не обменялись никакими залогами, если залогом не было то, что две жизни за это время сблизились так, как только было это возможно»). Есть прелесть свиданий в странный ранний утренний час в Париже, есть беглая сцена разрыва и тщательно написанные страницы случайной встречи в ресторане после разрыва. Но и в этой сцене напряженность положения, «эксперимент» героя и Беллы, разделенных всего лишь пространством между соседними столиками и вместе с тем разделенных пропастью, захватывает автора гораздо более, чем сама Белла и о том он пишет страницы, насыщенности которых позавидовал бы сам Пруст. И Белла исчезает. В главе занятой решительным столкновением Дюбардо с Ребандаром, в сцене ареста совершает она свой героический жест и затем, в трех или пяти строках, умирает.

Книга продолжается без нее, без любви, роман движется к своему ничем не оправдываемому концу — к слезам отца Беллы, вспомнившего о ней в комнате у женщины из ночного бара. Об отце Беллы, Фонтранже написаны в книге не менее искусные страницы, чем о самой Белле, хотя очевидно, что большое отведенное ему место в романе объясняется лишь его ролью связующего элемента с другим уже обещанным Жироду романом, который будет назван именем сестры Беллы — «Беллита». Фонтранж дал повод написать очень яркие страницы о Париже в ночь объявления войны, Париже видимом не подозревающим ничего ни о какой войне человеком, приехавшим из провинции в поисках женщины из ночного бара. Таким же только поводом была Белла, была любовь Филиппа и Беллы для написания всех лучших страниц Жироду о Ребандаре, о Дюбардо, о современнейших пейзажах Парижа.

В изображении пейзажей Жироду достигает огромного совершенства и с тем же совершенством изображает он при-

думанных им людей. Описательные характеристики Ребандара и Дюбардо, Фонтранжа и банкира Моиза блестящи. Но есть ли у Жироду желание, чтобы они были совсем живыми людьми, обладающими способностью жить как то и вне пределов, которые даны им в его книге? Когда книга закрыта, продолжают ли они жить как люди придуманные Стивенсеном или Чеховым, (не говоря уже о людях придуманных Бальзаком и Достоевским!)? Разумеется нет, и в них нет даже той небывало интенсивной полужизни, которая свойственна персонажам Пруста (полужизни, а не жизни, потому что люди Пруста с неимеющей себе равной яркостью освещены, как луна всегда только с одной и той же стороны). К созданию живых людей Жироду не стремится и ограничивается лишь построением из **подлинных** человеческих черт чисто **отвлеченных психических фигур,** обладающих человеческой видимостью. В его книгах они действуют и даже очень исправно действуют, как вполне совершенные механизмы.

На русский взгляд книги Жироду — слишком «умственная» литература. Но для западной книги, французской в особенности, сама по себе умственность не недостаток. Да и кто знает, не грешит ли с какой то более широкой точки зрения наша литература как раз обратным и не отсутствием ли некоторой необходимой доли умственности обязаны мы и до сей поры не изжитой полосой литературы «настроений» — бессодержательнейшей в общем литературы! Искателю умных книг Жироду доставит несомненно не мало замечательных мест, так же как ценителю слова ряд драгоценных строк, а читателю, чуткому к изобразительной стороне — образы, рожденные воображением тонкого художника.

И при всем том вряд ли оставит этот писатель в самых сочувственных читателях своих что либо иное кроме неопределенного беспокойства. Выводы его ума, сочетание его слов, образы его воображений не соединяются в какое то **новое единство.** Но создание нового единства из переменных и вечных данностей мира и есть в сущности цель счастливого собой искусства. В книге Жироду сколько угодно элементов искусства и это все же не произведение искусства. Чем больше элементов искусства в явно неосуществившемся новом

единстве, тем скорее наводит оно на мысль о тщете искусства. Эта опасная мысль — невольный вывод из писаний Жироду, одного из острейших и одареннейших писателей современности. Для критика она должна как то осветить и самый смысл нашей эпохи. Для пишущего, для профессионального человека она тлетворна. Он это угадывает инстинктом, когда после книг Жироду у него пропадает охота писать и опускаются руки.

П. Муратов.

Проблема славянской политики.

15.*) Панславянскими политическими игрушками я называю все эти бывшие у нас, у словаков и у иных славян дискуссии о России; их целью было или создание общего славянского языка, письменности и религии, или превращение, по крайней мере, русского языка, кирилицы и православия в нечто всеславянское, принятое всеми славянами, для них типичное, одним словом, единое и характерное для всех славян. Я не отвергаю значения и цены этих споров, пока они служат философии, религии, науке, филологии и т. д., но отнюдь не политической агитации.

Как я уже отмечал ранее, попытки сооздать единый славянский язык делались в самом начале славянского движения. Их нельзя совершенно и безусловно отвергнуть, с филологической точки зрения близость славянских языков и существование старославянского языка, сохранившегося в богослужебных обрядах в России и на Балканах, могли привести к такой мысли или, по крайней мере, ее поддержать, но сама сущность вопроса указывала на то, что он не мог иметь успеха на практике, в обыденной жизни. Было, однако, вполне естественно, что после 1848 года, при участившихся сношениях и устройстве междуславянских съездов, когда особенно чувствовалось незнание славянских языков, их сходство и недостаток единого славянского языка, уже по чисто практическим причинам этот вопрос был выдвинут, как один из пунктов программы славянского движения. Легко также понять, почему при неимении единого славянского языка был выдвинут на роль междуславянского языка язык величайшего славянского народа — русский.

У этого вопроса есть свои основа, значение и практическая цель. Но благодаря непрактичным, — иногда даже чисто детским идеям различных восторженных личностей и фантазеров, этот вопрос получал часто такую окраску, что должен был казаться многим действительно пустой игрушкой. Реально это может быть разрешено чисто практическим советом: те, кто так

*) См. №№ 2, 3 «Воли России».

заботятся о славянстве, обязаны научиться языку, на котором говорят остальные. И нешовинист поймет, что при современном положении Европы и при отношении Германии к славянам для этого не будет избран немецкий язык. Но было и остается психологической ошибкой стремление официально возвысить один славянский язык над другими. На практике такие вопросы решаются без дискуссий и постановлений: от политического привкуса они освобождаются благодаря тому, что превращаются в вопросы целесообразности, практичности и соответствующей администрации при признании полного теоретического равенства всех языков. В скором будущем этот вопрос, наверное, опять будет поднят. По моему мнению, его можно разрешить только так, как я только что наметил.

С вопросом о языке тесно связан вопрос о кирилице. В нем уже ясна видна поверхность, с которой думали и говорили о славянских вещах. В 1865 г. требовал введения кирилицы, как общего способа начертания для всех славян, Н. Попов, один из участников московского съезда, а в 1871 году в своем рассуждении о «Славянской азбуке» ту же мысль высказал русский панславист Гильфердинг. В 60-ых и 70-ых годах, а также и при позднейших дискуссиях до 90-х годов и у нас, в Чехии, проповедывали и расширяли эту мысль, находившую своих приверженцев. С практической точки зрения осуществление этой мысли было бы невыгодно. Она бы удалила славянские народы, принявшие латинскую азбуку, от Европы и поставила бы их по отношению к ней в подчиненное во всех отношениях положение. Это бы вредило их жизненным интересам. Что касается действительно серьезной стороны этого вопроса, то его место в школах; мы, поляки и югославяне обязаны обучать в известных школах, в известном возрасте кирилице, дабы понятие о ней действительно распространилось. Этого, однако, вполне достаточно; мы останемся истинными славянами, если даже большего и не сделаем.

С вопросом о православии дело обстоит серьезнее. Влияние славянофильства, которое всей своей доктриной выдвинуло принцип, что православие является наиболее характерным признаком истинного славянского и русского характера, было весьма сильно; кроме того, благодаря связи церкви с русским государством и русской теократией православие вообще приобрело такое место в жизни каждого русского гражданина, во внутренней и внешней политике государства, что оно должно было неизбежно влиять на все славянское движение в России, а до известной степени даже и за ее рубежом. Кроме того, русская официальная политика видела в распространении православия орудие своего влияния и средство для своей наступательной политики. Естественно, что при таком положении делались попытки распространения православия

среди славянских католиков и что эти попытки тесно сплетались с распространением славянской идеи. Наибольшего успеха, хотя и в этом случае он был весьма незначителен, это стремление достигло среди чехов и словаков, менее среди католиков югославян. У нас, как известно, это было во время наиболее обостренной борьбы с Веной и носило характер демонстрации. Это стремление никогда нельзя было принимать всерьез, так как оно не могло приобрести массового характера. Здесь я припоминаю попытки распространения у нас православия в 80-ых годах и выступление Сладковского. Во время мировой войны при совершенно исключительных условиях подобная попытка была возобновлена среди наших легионеров: это делалось прежде всего по практическим побуждениям (давало возможность приобрести русское гражданство и быть принятым в регулярное русское войско). Однако, в демонстративном переходе наших солдат в православие проскальзывали то здесь, то там признаки того романтического политического руссофильства, которое имелось у нас до войны в кругах. Однако, количество перешедших не достигало и двух тысяч.

С этим связан, с одной стороны, спор о кирилломефодиевской идее, а с другой, — спор об отношении нашей национальной реформации к православию. Нужно признать, что кирилломефодиевская идея обладает некоторой внешней нивеллирующей основой: христианство у нас, чехословаков, западных славян, было распространено Кириллом и Мефодием, славянами, пришедшими из Солуни, то есть с Востока, а ни в коем случае не из Рима, у нас они ввели славянскую литургию. Это было в те времена, когда еще раскол церквей не был закончен и когда из-за него шла борьба. Таким образом, оба брата могли считаться близкими восточной церкви и даже ее представителями; они соединяли в религиозном отношении чехословаков, югославян и русских; у всех этих трех народов культ обоих братьев, хотя и на различных основаниях, сильно распространен до сегодняшнего дня. Таким образом, ими могли выгодно воспользоваться, как связью между славянами католиками и православными. На этом основании у нас создалась, с одной стороны пропаганда православия, связанная с кирилло-мефодиевской идеей и основанная на политической агитации в пользу заведения богослужебных обрядов на старославянском языке, с другой, — пользовались этой же идеей в политическом отношении для доказательства первоначальной культурной и религиозной близости обоих народов, близости, к которой было необходимо снова вернуться. Вот интересный образец политического тенденциозного историзма: поскольку эта идея выдвигалась в более старую эпоху (например, Добровский и иные), постольку она была тогда доказательством сознания, каким важным элементом в нашей жизни, и славян вообще, является

религия. После 80-ых годов та же идея у нас сделалась гораздо больше предметом мгновенной политической агитации и доказательством поверхностного либерализма, который будучи сам неверующим, хотел по вольтеровски пользоваться религией и церковными обрядами для своих политических целей.

Это тенденциозное использование исторического факта тем более характерно, что, конечно, Рим с большими основаниями создал из Кирилла и Мефодия своих патронов и пользовался ими, как одним из главных факторов униатского движения, направленного против православия и в пользу католичества. Именно благодаря этому с 60-ых годов кирилло-мефодиевская идея становится политически противоположностью того, чем должна была быть в начале для некоторых панславистов и славянофилов. Для объективного наблюдателя она имеет ту же внутреннюю цену и значение, как и тогда, когда ею пользовались для православной агитации. Политически это важно тем, что и католические круги хотели подчеркнуть свое славянское происхождение. Правда, кирилло-мефодиевской идеей легко воспользоваться для краткой религиозно-политической агитации, влиянию которой могут подпасть немногочисленные поверхностные зрители. Она не способна, однако, вызвать ни массового движения в пользу православия, ни широкого униатского движения в пользу Рима. Она является лишь доказательством поверхностного политиканства и неисторического мелкого мышления.

Политически бесцельным и исторически совершенно необоснованным является сближение нашей реформации и гуситства с православием. Я не буду разбирать вопроса во всей его сущности, в наше время нет необходимости уже об этом спорить*); я хочу указать лишь на то, что уже наши будители, протестантские круги, а с 1870 г. и распространители славянского движения вообще как у нас, так и в Польше, серьезно занимались этим вопросом и пытались использовать тенденциозные выводы для более узкой культурной связи чехов и словаков с православной Россией. Серьезно этим вопросом занимались Ламанский, Гильфердинг, Аксаков и иные. Так, например, в 1871 г. Гильфердинг написал труд о Гусе, в котором доказывал, что православная традиция никогда не вымирала среди чехов, начиная с Кирилла и Мефодия до Гуса, а после Гуса в гуситском и реформистском движении, почему и следует считать чехов истинными славянами, как их понимает русское славянофильство. Подобные вещи нельзя считать в действительности ничем иным, как тенденциозными политическими побрякушками.

*) Смотри синтетическое изложение всего спора у Масарика в «Чешском вопросе».

Я упоминаю о всех этих вопросах, которые и после 80-ых и 90-ых годов прошлого столетия были у нас для некоторых кругов признаком истинного славянского патриотизма; у многих восторженных приверженцев славянской идеи она выражалась как раз в этой форме или же в неясно осознанных выкриках и «гейславянстве», которое не было способно проникнуть в историю, в сущность славянской проблемы, в затруднения, споры и в возможность ее правильного разрешения. Подобные попытки могли лишь вредить настоящему славянству; критические наблюдатели сейчас же указали на практическую неосуществимость подобных взглядов и таким образом были внесены и в без того уже спорные и сложные вопросы, новые, совершенно лишние и часто прямо детские споры.

16. В то время, когда в России теоретика славянофильства занималась этими спорами и когда вследствие внутренних и внешних событий рос русский национализм, в то время была формулирована, конечно, также под влиянием московского славянского съезда, первая практическая и конкретная программа политического панславизма с русской стороны.

В 1869 г. Николай Яковлевич Данилевский *) напечатал в журнале «Заря» ряд статей о славянском вопросе, которые прошли тогда почти незамеченными. Через два года, т. е. в 1871 г. славянофильски настроенный писатель Н. Страхов издал эти статьи отдельной книгой под названием «Россия и Европа». Книга вызвала большой интерес, она сделала более популярными политические планы, которые с полным правом могут быть названы русским панславизмом и стала с тех пор, в особенности в кругах противников панславизма, тем, что можно назвать *катехизисом или библией панславизма.*

Как естественник, Данилевский применял часто законы природы к человеческому обществу. С этой точки зрения он различал по Рюккерту отдельные племена и семьи народов, составляющие самостоятельные культурно-исторические типы и выступающие одни за другими за историческую арену в течение развития человечества. Русские и остальные славянские

*) Николай Яковлевич Данилевский родился в 1822 г. в Орловской губ.; его отец был генералом и командовал бригадой. Детство свое он провел по разным городам, конец же в Москве и в Царском Селе. С 1843 по 1847 г. он учился на естественном факультете патроградского факультета, будучи одновременно чиновником военного министерства. Он посвятил себя специально ботанике. Около трех месяцев он просидел в тюрьме, будучи, как и Достоевский, обвинен по делу Петрашевского. После освобождения он был послан, как чиновник, в юговосточную Россию, а потом прикомандирован к трехгодичной экспедиции по изучению рыболовства на Волге и в Каспийском море. Потом с тою же целью был послан с экспедицией в Белое море и Ледовитый океан; в течение своей жизни он принял участие еще в семи подобных экспедициях. При этих путешествиях он работал научно, писал о доктрине Фурье, о дарвинизме и иных вопросах. Книгу «Россия и Европа» написал в 1865—67 годах.

народы являются культурно-историческим родовым типом, высшим, чем остальные германские и латинские типы, выступившие на место старого античного мира и теперь долженствующие уступить место славянскому типу. В своих взглядах Данилевский является довольно последовательным, но и довольно поверхностным, ненаучным и диллетантски мыслящим последователем славянофильства Хомякова и Киреевского, которые шли гораздо глубже в своих суждениях. Однако, интересно наблюдать, как Данилевский от славянофильства сделал шаг дальше и создал практический политический панславизм.

Точно так же, как и славянофилы, Данилевский считал протестанство отрицанием истинной веры, а католичество ложью и невежеством. Истинной религией, которая одновременно характеризует истинное славянство, является православие. Россия с ее мощью является порукою спасения и продолжения истинной славянской культуры, в противовес европейскому Западу и Турции, политические судьбы которой решены. Славянская идея означает борьбу с европеизацией славянских народов и особенно России, борьбу с отдельными элементами западной культуры, борьбу за православие, но также и борьбу с германизмом, немецким языком, искусством, традицией, германизмом вообще, который наиболее опасен политически и культурно, благодаря своему всепроникающему влиянию. Борьба с поляками, которые из славянских народов более всего европеизировались, является, собственно говоря, частью борьбы с европеизацией славянства. Россия есть и должна быть против Европы, которая приносила славянству всегда лишь зло; у членов славянского культурно-исторического типа нет никаких обязанностей по отношению к Европе, которую западные государства неправильно отождествляют с человечеством, у них есть обязанности лишь к своему собственному типу. Наивысшим идеалом для каждого славянина должна быть работа для славянства, для своего культурно-исторического типа; этот идеал стоит выше идеала свободы, науки и т. д. Лишь Бог и православная церковь, которые, однако, сливаются с славянским типом, не подверглись у Данилевского осуждению.

Как видно, Данилевский в своих выводах отклоняется от теории чистого славянофильства; он формулирует философию панславянского национализма в том же смысле, как определяют национализм теперь после-военные шовинисты, разного рода фашисты, пангерманисты и империалисты различных типов.

Славянство может достигнуть своих целей лишь в борьбе с Западной Европой (и Турцией) и ее цивилизацией. Задача России завоевать свободу всем славянским народам и сплотить их в единое целое; дело будет, главным образом, заклю-

чаться в борьбе с Турцией и Австро-Венгрией. В первую очередь необходимо добиться Византии-Царьграда, так как это является основной задачей России, а потом объединить вокруг нее все славянство. Благодаря этому же будет достигнуто и большее культурное единение всех славян и русский язык станет их общим средством сношений; всеобщее сближение наступит тем скорее, чем дольше будут жить в великом всеславянском союзе отдельные славяне.

Данилевский представляет себе, что в этом «всеславянском союзе», руководимом Россией, национальные группы были бы соединены в виде автономных государственных единиц (подробности правовых соотношений отдельных групп не определены), создавая таким образом некую всеславянскую федерацию:

1) Россия (с русской Галицией, Буковиной и северной Венгрией, с южной Бессарабией до дельты Дуная и Добруджей);

2) Сербия — Хорватия — Словения со всеми землями, принадлежащими этим народам, с сербо-хорватской частью Венгрии, с Истрией и Триестом;

3) Чехия — Моравия — Словакия;

4) Болгария (с Румелией и Македонией);

5) Греция (с частью Македонии, Архипелагом, Критом, Родосом и малоазиатским побережьем);

6) Царьград (с прилегающей частью Фракии и Малой Азии, с Галиполлийским полуостровом и островом Тенедосом);

7) Венгрия (состоящая из мадьярской части и части Семигорья);

8) Румыния (с частью Буковины с Семигорьем, но без южной Бессарабии и Добруджи).

Польша бы осталась в пределах России, ибо Данилевский принимает взгляды Каткова на поляков, обвиняет их за обе революции и притеснение русинов. Далее Данилевский объясняет в своих рассуждениях, почему каждый из этих народов заинтересован в создании этого «всеславянского союза»; у румын он приводит общую с русскими религию; у венгров, хотя и допускает, что это бы помешало их национальным стремлениям, но за то у них бы сохранилась полностью независимость и самоуправление, как это было с Финляндией, где, по его словам, Россия отнеслась с уважением к широкому государственному и административному самоуправлению. Он добавляет, что нет ни одного великого и знаменитого славянина, который бы не питал подобного идеала; как пример, он приводит Хомякова, Погодина, Ганку, Коллара и Штура, которые все более или менее ясно высказывали подобные же мысли.

Этот панславянский план, который в общей своей концепции сильно походит на пангерманские планы, осуществлявшиеся

во время последней войны немецкими империалистами, защищался Данилевским точно так же, как и ими, несмотря на то, что некоторые специальные аргументы пангерманистов не были использованы Данилевским.

Как пример мышления Данилевского, я приведу несколько выдержек из главы о «всеславянском союзе».

«Иным подобным пугалом, отпугивающим от всеславянства, является страх перед универсальной монархией, страх перед мировым господством России и славян. Из только что приведенных объяснений, однако, ясно, что если бы даже такое мировое господство и возникло, как естественное и необходимое следствие всеславянского союза, то оно бы не было ни в каком случае специально русским, но скорее всеславянским. Полагаю, что для славян в этом нет причины для страха. Древние римляне совершенно не боялись мысли о мировом господстве; и Англия тоже не робеет перед мыслью о мировом господстве на море и расширении своих владений, которые окружают океаны и моря, целым рядом больших и малых колоний. Подобно этому и Америка не боится мысли о своем единовластном господстве от Гренландии до Огненной Земли. Что же это за странная скромность: бояться великого будущего и противиться ему из страха, что мы можем стать слишком могущественными и сильными и даже пародируя афоризм Вольтэра о Боге (Которого бы было необходимо изобрести, если бы Его не было) применять его к Австрии*), и все это лишь для того, чтобы избежать несчастья быть великими.»

Изложив, что «всеславянский союз» количественно не превышал бы Германии, немецкой Австрии, Франции, Англии, Бельгии и Голландии, он этим доказывает, что Союз, следовательно, не был бы опасен для Европы. Он был бы слабее целой Европы и служил бы лишь для охраны славянских народов в славянской национальности. К этому он добавляет: «Если еще кроме того принять в соображение наполненное любовью к человечеству славянское сердце, которое, однако, считает высшим своим долгом не жертвовать никогда своими славянскими целями ради так называемых общечеловеческих целей (ибо при бессмысленной замене всечеловеческого европейским и западным подобные жертвы идут всегда на пользу Западной Европы, которая всегда и во всем настроена недружелюбно к славянам), то нельзя будет удовлетвориться лишь приведенными доводами; мы должны указать, что не только независимость славян, но именно их политическая мощь необходимы для правильного и гармонического развития всечеловеческих интересов и что политическая мощь славян совершенно не грозит порабощением остального мира, но что будет

*) Намек на высказанное Палацким мнение об Австрии.

лишь естественной и достаточной крепостной стеной против мирового господства, которого остальная Европа чем дальше, тем больше, достигает и уже достигла в значительной мере.»

Данилевский, как естественник и ботаник, постоянно возвращается в своих рассуждениях к аналогиям с законами природы, припоминая и в этом отношении материализм немецких теоретиков пангерманизма, защищавших пангерманскую войну дарвиновским принципом борьбы за существование*). И в этом видно сходство обеих доктрин. Данилевский развивает, однако, свои взгляды менее научно и при помощи менее развитого теоретического аппарата; он более наивен, производит впечатление пророка и апостола, а в общем является научным диллетантом. По сравнению с ним пангерманцы являются учеными, расчетливыми циниками, видящими в немецкой науке, технике и экономической организации неудержимые силы, которые в интересах остального человечества дают им, как наиболее развитому народу, право владеть миром. Но если мы вспомним о плане Берлин — Багдад и на роль Константинополя во всей этой концепции, о втиснении в это политическое целое Чехословакии, Югославии, Венгрии и Болгарии и об аргументах, которыми защищался план, то все же мы должны будем, как политически, так и морально поставить на один уровень обе эти доктрины.

Нужно отметить, что с моральной точки зрения теория Данилевского противоречит чистому первоначальному славянофильству. Хотя Данилевский и подчеркивает уважение к общечеловеческим идеалам, однако, он сливает воедино интересы человечества и всеславянского союза; при этом он проповедывает удовлетворение славянских целей и интересов раньше всех остальных, особенно раньше западноевропейских. Таким образом, в конце концов, он приходит к тому же политическому шовинизму (а не гуманизму), которого достигли в своих концепциях и довоенные пангерманисты. Основное различие заключается в том, что Данилевский ссылается на человечность и чувствительность славянского сердца, которое и при существовании всеславянской федерации признает права, как отдельных национальных групп внутри федерации, так и право и интересы остальных народов Западной Европы, в то время, как пангерманцы одновременно с ссылкой на немецкую традицию, уважающую всечеловеческие интересы, доказывают, что совершенство немецкой науки и культуры, немецкой техники и экономической организации так велико, что, естественно, дает первенство всем немцам и добывает всем народам, как вошедшим в пангерманскую «Mitteleurope», да и остальным европейским народам, такие огромные всесторонние выгоды, что пан-

*) При этом Данилевский не был дарвинистом.

германский план будет означать огромный прогресс и выгоду для всех. Пангерманцы это научные циники и рассчетливые солдафоны, из которых шовинистическая спесь сделала романтиков и фантастов, панслависты — это наивные и сентиментальные мессианисты и научные диллетанты, которых искренняя вера в славянско-русский мессианизм превратила в политических фантастов.

Подобное же волнение, как и книга Данилевского, вызвали размышления о восточном вопросе генерала Ф. Р. Фадеева, вышедшие в 1870 г. В них он указывает на задачу России стать наследницей Турции и Австрии и взять на себя защиту всех славян. Славянству грозит со стороны Западной Европы, и особенно Германии, после ее соединения бóльшая опасность, чем со стороны Турции. Сначала будут порабощены чехи, а потом и остальные не-русские славяне. Поэтому Россия должна стать открыто защитницей всех славян. Необходимо поддерживать чувства славянской взаимности, поддерживать литературные и научные сношения; необходимо привлечь греков и румын, для которых, как для православных, царь является наивысшей главой церкви.

Галиция, Карпатская Русь и Бессарабия должны быть освобождены. Польше в ее этнографических границах должна быть дана свобода, таким образом будет отстранено австрийское влияние на поляков и заменено русским. В общем необходимо работать над освобождением всех славянских народов, а потому обеспечить их существование в тесной связи с Россией. Внешне, в международном и военном отношении, это будет единая империя, внутри же каждый народ будет управлять сам у себя. Константинополь и проливы будут присоединены к этому союзу, как свободный и равноправный член. Осуществление этого плана будет решено на Дунае в борьбе с Австро-Венгрией. Важнейшим пунктом здесь будут чехи, без которых невозможно осуществить славянский план России, об их сопротивление должен также разбиться натиск немцев на юг и восток. Тогда Россия начнет новый период своей истории, славянский период, но это будет лишь в том случае, если она поймет свою миссию и начнет осуществлять свой план.

В общем лишь с малыми изменениями и без обширных теоретических объяснений Фадеев даст ту же практическую программу, что и Данилевский. Философски он обосновывается тоже на славянофилах. Теории и взгляды Данилевского и Фадеева проникают и ко всем остальным славянским народам, они переводятся, цитируются и комментируются у нас, у поляков. у южных славян, в Германии и в Австро-Венгрии. Они приходятся на время после московского съезда, который в русском общественном мнении вызвал интерес к славянам, на время, когда русский национализм, обостренный против Поль-

ции, все еще чувствовал неприятные последствия Крымской кампании, когда он начал замечать опасность объединенной Германии после поражения Австрии в 1866 г. и Франции в 1871 году и когда славянофильство начинало совершенно сливаться с политическим национализмом. Однако, в это время они не имели непосредственного влияния на официальную политику правительства.

Я не хочу ни в коем случае придавать Данилевскому и его конкретной панславянской программе бо́льшего значения, чем она имела в философском и политическом отношениях. Она является, однако, интересным документом панславянского мышления: от неясного панславянского мышления и чувствования можно было логически дойти или именно к такой формулировке или к тому, что представлял позднее неославизм.

Я привел все это, однако, умышленно подробно для того, чтобы показать на примере, когда и как практический политический панславизм превратился в совершенно точную доктрину и политическую программу, дабы дать при помощи этого этюда о его развитии ясное представление, о самом понятии политического панславизма. Практическая программа и сам панславизм никогда не был так ясно и точно формулирован ни до, ни после Данилевского, за исключением нескольких неославянских формулировок (Сватковский, Володимиров), сделанных перед войной. Поэтому будет интересно сравнить программу Данилевского и Фадеева с неославизмом 1905—12 лет.

17. Историю славянского движения после 1871 года можно связать с некоторыми важными событиями европейской политики — с балканским восстанием и Русско-Турецкой войной 1876—8 г., Берлинским Конгрессом, заключением двойственного и тройственного союза, франко-русского союза и с внутренней борьбой австро-венгерских национальностей. После Данилевского до неославянской формулировки все славянское движение остается все же в области чувств и неясных понятий о славянском единении, славянском сближении и России, как о покровительнице слабых порабощенных славянских народов; международные события, развитие европейской политики и русская официальная политика вообще со всеми своими неуспехами не допускают дальнейшего развития и формулировки политической конкретной программы, за которой бы могли выступить, с одной стороны, русское правительство, с другой, австро-венгерские славяне. В то время, когда формулировались идеи Данилевского и Фадеева, русская политика не выступала, например, решительно ни против объединения Германии, ни против аннексии Эльзаса и Лотарингии. Она удовлетворилась уничтожением нейтралитета Черного моря и открывшимся для нее путем на Балканы. Она заботилась лишь о своих непосредственных интересах.

Восстание против турок в 1876 г. и возникшая из этого Сербо-Турецкая, а позднее и Русско-Турецкая война были огромным поводом для размаха и дальнейшего увеличения славянского чувства и сознания в России, на Балканах, в Чехии и в Венгрии. Я не буду разбирать подробно этот предмет. При этом я хочу лишь обратить снова внимание на выступления политиканствовавших и национализировавшихся панславистов, как Иван Аксаков, Катков и иные (между прочим и Достоевский — «Дневник Писателя»), действовавших, главным образом, в духе панславянских и славянофильских идей о миссии России охранять православные и славянские народы, завоевать Царьград, объединить славянство и так принести спасение истинному человечеству, представленному славянами. Русское политическое общественное мнение сильно реагировало, когда в апреле 1877 г. после поражения Сербии вмешалась Россия и когда царь в своем манифесте объявил, что идет на помощь славянскому делу. Настроение общества и правительственных кругов бесспорно продвинуло вперед понимание и чувство славянского вопроса в России, понятого, однако, прежде всего как балканский вопрос в духе охраны православия, связанного с ортодоксальными традициями и целями на Балканах и в Византии-Царьграде.

Зато у остальных славян, прежде всего у чехов и словаков и у католических югославян, балканские события вызвали взлет неясного славянского чувства в его обычной панславизующей форме, непринявшей, однако, точного политического вида. Чешское общественное мнение и печать придали своему восторгу более ясное выражение. 13 мая 1877 г. Ригр послал от имени своей партии Ивану Аксакову поздравление, по поводу выступления России против Турции, в котором особо подчеркивает в славянофильском духе великую миссию России в истории Славянства, Европы и цивилизации и вспоминает о связи чехов и русских в духе кирилло-мефодиевской идеи. Сладковский от имени младочехов сделал то же 28 июля, обратившись к Аксакову еще более тепло, тем более, что в это время Грегр и «Народные Листы» начали уже выражать свои славянские симпатии в той форме, которая характерна для них до нашего времени. Среди поляков вся эта кампания вызвала, наоборот, весьма сильную антирусскую реакцию, ибо притеснения в национальном и религиозном вопросах со стороны официальной России усиливались как раз в то время, когда говорилось об освобождении южных славян из под национального и религиозного ига турок.

Победоносный санстефанский мир (3 марта 1878 г.) лишь усилил подъем целого движения; однако, Берлинский Конгресс принес великое разочарование всем этим кругам среди русских, чехов, словаков и югославян. Разочарование всюду начало еще

больше увеличиваться благодаря тому, что официальная Россия, несмотря на обвинения русской дипломатии в неспособности и в отходе от своей исторической миссии, просто делала такую реалистическую политику, какую считала выгодной для своих политических интересов, а иногда даже отвечала недружелюбным жестом (комитет помощи славянам был распущен, Аксаков впал в немилость и т. д.). Славянофилы и панслависты видели совершенно правильно в этих событиях триумф Германии и Бисмарка. Они восприняли, как жестокий удар для своей программы, когда в довершение всего в 1879 г. Германия в ответ на русскую балканскую политику заключила двойственный союз с Австрией, который в 1882 г. вступлением Италии был расширен до размеров тройственного союза. Политические деятели видели во всей этой политике, кроме неблагодарности Германии по отношению к России за ее нейтралитет в 1866 и 1871 годах, прежде всего неуспех русской официальной политики, который, естественно, должен был влиять на ее дальнейшее развитие в славянском вопросе.

Дальнейшие политические европейские события еще более подчеркнули эти неуспехи наступательной русской политики: слияние Восточной Румелии с Болгарией, Сербо-Болгарская война, режим Милана в Сербии, Стамбуловщина в Болгарии и избрание Фердинанда Кобургского царем — все это были удары по русской официальной политике, имевшие одновременно влияние на все славянское движение: все это вынуждало отстранение всеславянских планов, тенденций и кампаний на совершенно второстепенное место, где ими занимались чем дальше, тем больше, уже лишь политически незначительные, традиционно этим занятые журналистические и публицистические круги и общества.

К этому еще необходимо прибавить, что славянское движение в России перешло от неясного, первоначального панславизма, кое как еще уважающего самобытность остальных славян, от классического славянофильства к русскому национализму и панруссизму. С вступлением на престол Александра III влияние Каткова достигает своих пределов и начинается режим Победоносцева. Уже в 1886 г. на Пушкинских торжествах Иван Аксаков мирился демонстративно с Катковым, после чего классическое славянофильство начинает своеобразно раскладываться на малые и, наконец, совершенно неимеющие значения фракции и мельчает под влиянием русского национализма: вся русская политическая общественность поддается режиму, в котором господствует реакционная, на все стороны обостренная троица — автократия, православие и национализм.

Славянофильство, представленное Ив. Аксаковым, теряет последние признаки либерализма и демократизма, идет с официальным реакционным режимом, идет против поляков, высту-

нает во имя руссификации и панруссизма. Неуспехи внешней политики и внутренние затруднения после убийства Александра II ведут официальную политику и, особенно, политику Александра III, к попытке создать союз трех монархов (18 июня 1881 г.), целью которого было определить отношения между Германией, Австро-Венгрией и Россией, укрепить их взаимный мир и добиться согласия относительно Балкан и известного территориального statu quo; Александр III обращает все свое внимание и все стремления к миру, и прежде всего на внутренние условия и на заботы о России. Николай II продолжает ту же внутреннюю политику, но в иностранной политике по существу те же цели и мотивы принуждают его заключить чисто оборонительный союз с Францией, который является ответом на тройственный союз, на грозный рост и силу Германии-Пруссии и на неуспехи русской официальной политики. Характер самого союза, в котором Франция была членом, нежелающим ни в коем случае новой войны и международных осложнений, принуждал и Россию быть сдержанной, спокойной и ненаступательной, как на Балканах, так и в Турции. Итак, все иностранные события вели к тому, что политические условия всюду укреплялись, военные выступления становились невозможными, а великие державы стремились сохранить свои владения, как status quo скорее мирным путем или даже обеспечивали их при помощи взаимных договоров. Надежды некоторых славянских деятелей приобрести хоть что нибудь при помощи войны или кризиса все больше и больше исчезали.

Необходимо снова подчеркнуть, что с самого начала каждое настоящее славянское движение в Европе должно было обладать двойным характером: в своей основе оно возникло из развития европейского демократизма, либерализма и конституционализма, в связи с которым оно развивалось и опадало; с другой стороны, будучи движением народов, в большинстве случаев притесняемых иными, оно имело и должно было иметь наступательный характер. Его развитие бывало всегда связано с эпохой кризисов, великих событий, войн и революций (1848 год, Крымская кампания, балканское восстание и революция, война 1866 и 1871 годов, русско-турецкая кампания, дальше идут — Русско-Японская война и революция 1905 г., Балканская война 1912 г. и, наконец, последняя мировая война).

Поэтому при этих новых условиях оно не могло особенно благоприятно развиваться в России. Внутренее политическое положение России, борьба с поляками и борьба реакции с демократией и революционными элементами гнали официальную политику все больше и больше направо. Перерождение славянофильства в панславизм и в панруссизм было лишь доказательством целого развития. К этому еще присоединился последний, решающий фактор, а именно то, что после восшествия на пре-

стол Николая II продолжалась прежняя реакционная политика, причем вся русская внешняя политика повернулась от Ближнего Востока в Сибирь, на Дальний Восток. Чтобы быть свободнее в Китае, Манджурии и в Корее, Россия заключила в 1897 г. с Австро-Венгрией договор о status quo на Балканах. В 1903 году по случаю спора из-за Македонии договор был повторен и усилен, так что без согласия обоих государств в будущем на Балканах не могло произойти никакого территориального изменения. Таким образом, Россия оказалась страшно далеко от тех планов, которые ей хотели приписать панслависты и политические славянофилы; она показывает полную незаинтересованность в славянских делах и идет за целью, представляющей исключительные интересы реакционной державы. Необходимо еще отметить, что после большого подъема в России так называемого славянского движения и чувствования во время Русско-Турецкой кампании, началось его постепенное сокращение и упадок, при постоянном выходе из движения всего, что хотя сколько нибудь являлось либеральным, передовым и демократическим. Русская официальная политика, как внешняя, так и внутренняя придаст ему свой характер. Настоящее славянское движение по причинам государственной политики было неудобно для России, начиная с 1878 по 1914 г.; принимая в соображение, что истинное славянское движение может и должно быть всей своей сущностью демократическим, если вообще оно хочет существовать, — станет ясным, что оно не было пригодно для России еще менее по причинам внутренней политики.

С этим тесно связано то, что происходило в это же время с остальными славянами: с поляками, русинами, чехословаками, австрийскими югославянами. В 1879 г. чехи прекращают пассивное сопротивление и входят в венский парламент. Они безусловно присоединяются к Австрии. То же самое сделали и остальные славяне. Поляки даже отвечают на антипольскую политику России и Германии сильным, теперь уже традиционным, австрофильством. Благодаря этому внутренние условия жизни Австро-Венгрии укрепляются. Младочешская оппозиция, несмотря на свое крикливое руссофильство, не изменяет положения тем более, что вскоре после поражения старочехов вступает на их же путь. Осуществляется позитивная политика, сопровождающаяся значительным расцветом всех славянских народов в культурном, экономическом, социальном и политическом отношении. С 1880 года начинается известное внутреннее развитие несвободных славянских народов, характеризующееся мелкой реалистической, экономической и культурной работой и сильным отклонением от политического романтизма. Это постепенное довершение их национального возрождения, начавшегося с французской револю-

ции. Это касается всех славянских народов, кроме России. Это развитие действует на славянское движение в том же смысле, как и отклонение русской официальной политики от поддержки славянского плана в 1880 г. как политическое укрепление условий жизни в АвстроВенгрии и на Балканах; некоторая сдержанность в данный момент, меньше наступлений, меньше агитаций большого стиля, внутреннее накопление сил и подготовка к новой борьбе.

Этот период продолжается до 1905 г., когда начинается новый физис славянского движения, называемый неославизмом. Во внутренних политических боях австрийских народов Россией и далее пользуются, как пугалом, панславизм в международных отношениях приводится, как действительная опасность, особенно это охотно делают немцы и венгры, но и Западная Европа, особенно Италия, Англия, Румыния и иные говорят о нем ревниво, продолжаются споры о кирилло-мефодиевской идее, устраиваются внешние манифестации, поется «Гей, славяне», «Русский с нами, кто против него, того сметет француз».

Но дело доходит и до выступлений более серьезного и политически более значительного характера, которые можно считать как раз симптомами собирания сил и подготовки будущего; такими явлениями были, например, манифестация по случаю столетия со дня рождения Палацкого в 1898 г., сербо-хорватское соглашение, попытка заинтересовать славянскими делами и судьбами славянских народов Австро-Венгрии заграницу (особенно Францию — Леже, Дени, А. Леруа-Болье, Шерадам, Рене Анри и иные), основание «Славянского Пржегледа» Адольфом Черным (1898 г.) и т. д.). Так мы приходим к новому явлению в развитии того, что принято вообще называть славянским движением.

Несмотря на этот поворот к позитивной австрийской политике, постепенный рост мощи и силы угнетенных австрийских народов вызывал необходимость путем демократической эволюции, после периода сдержанности и подготовок, возрождение славянского движения и его рост в размерах, сильно превышающих русские. Одновременно в противовес этому упомянутая эволюция, являющаяся доказательством победоносного движения демократического режима, естественно усилила или вызвала снова старые споры между самими славянскими народами: польско-русский, польско-чешский, сербо-хорватский, сербо-болгарский, македонский, русско-украинский и т. д.*). Как нарождается среди славянских народов реализм в политике в широком смысле, так в то же время нарождаются рядом

*) Вспомним, что против всякого ожидания вызвало в этом отношении введение всеобщего избирательного права в Австрии в 1907 году.

со старыми методами всеславянской агитации и романтического панславизма, выражающихся в неославянских попытках, и первые опыты чистого реализма в славянском движении позднейшей эпохи; у нас они связывались с традицией реалистических попыток Палацкого и Гавличка.

У нас был, конечно, Масарик, который первый взглянул правильно на вещи, который знал все развитие славянского вопроса, правильно оценивал политические условия у славянских народов и государств и в связи со всем этим проповедывал свою славянскую идею. Необходимо, следовательно, подчеркнуть, что действительное славянское движение в это время исходило от меньших славянских народов Австрии, которые настолько созрели, что не допускали, чтобы их связывали. И здесь демократизм и естественное развитие широких масс выполнили свою задачу. Славянская идея не исходила в это время от России. Она была и осталась пассивной.

ЭДУАРД БЕНЕШ.

С чешск. перев. *Н. Мельникова-Папоушек.*

Крестьянство в судьбах России.

На фоне новой России, очертания которой начинают явственно намечаться сквозь все еще окутывающий ее, но уже рвущийся покров большевицкой диктатуры, вырисовывается громадная, могучая фигура социального класса, заполняющая почти весь фон картины — фигура русского мужика. Только теперь, когда почти десятилетие отделяет нас от свержения царизма, когда уже достаточно выявились неистребимые последствия небывалой в истории по своему размаху и масштабу трудовой крестьянской революции, перевернувшей всю российскую почву, всеми без исключения стало признаваться значение русского крсетьянства, как решающей силы.

Только теперь все русские партии и направления, начиная от большевиков и кончая монархистами, независимо от своих классовых и идеологических различий, одинаково убедились в том, что от этой решающей силы зависит не только политическое будущее России, но и само направление ее экономического и социального развития.

При царизме и даже в первый период революции, отчасти и еще после пришествия большевизма эта истина далеко не являлась, однако, общепризнанной.

Несомненно, что революция, поднявшая нижние социальные пласты русского народа и испепелившая верхние, разлагавшиеся или еще не успевшие окрепнуть исторические напластования, громадно увеличила удельный вес крестьянства, представляющего даже не класс, а целый огромный и своеобразный мир. Но несомненно также и то, что и до революции Россия была в основе своей сельской страной, где хозяйство и государство держалось на широких плечах мужика, где его подавляющее численное превосходство и важность его экономической роли при относительной слабости других классов и не сложном внутреннем строении общества, предопределяло его преобладающее, решающее значение. Но раскрашенный в кричащие цвета фасад царизма, с его искусственной европеизацией, на ряду с быстрым, хотя и недавним ростом крупной промышленности и развитием городских центров, являвшихся, однако, лишь островками среди безбреж-

ного крестьянского океана, заслонял этот основной доминирующий факт русской действительности.

До 17-го года одна лишь партия социалистов-революционеров признавала этот факт и исходила из него в своих програмных и тактических построениях. Она одна лишь провоглашала крестьянство главной движущей силой революции и считала, подвергаясь за это догматическому обстрелу с самых противоположных сторон, что противоречие крестьянских масс с самодержавием перевешивало в процессе революционирования России все остальные факторы. Поэтому также она и стремилась синтетизировать в своей революционной программе чаяния крестьянства, пролетариата и трудовой интеллигенции. Все прочие партии и направления, как социалистические, так и либеральные, в своей стратегии и тактике вовсе не учитывали решающего значения крестьянской России, делали ставку на другие классы — буржуазию, пролетариат, временный союз того и другого — или в лучшем случае рассматривали крестьянство, как пассивную массу, легко подчиняющуюся импульсам, исходящим из городов.

В начале революции революционная демократия, ставшая во главе ее, тоже поддалась этому оптическому обману. Она, несомненно, чрезвычайно преувеличивала тогда роль и значение пролетариата в ущерб крестьянству. Крестьянские советы на практике равноправные являлись второстепенными учреждениями по сравнению с советами рабочих и солдатских депутатов и привлекли к себе относительно мало сил революционной интеллигенции, в то время, когда только через них можно было сплотить и повести основную громаду русских народных масс.

И сама партия социалистов-революционеров, теоретический анализ которой правильно определил историческую роль крестьянства, на первых порах не сделала вытекавших отсюда практических выводов, что объяснялось преимущественно войной и, имея за собою поддержку бесчисленных крестьянских масс, как, впрочем, и большинства пролетариата, все же не считала себя настолько сильной, чтобы обойтись без коалиции с буржуазией.

Что касается до Ленина, то весь план его немедленного социализма покоился как раз на уверенности в легкой возможности нейтрализовать крестьянство декретами о земле, а затем насильственной его коллективизации, при ослаблении его сопротивления разжиганием внутренней классовой борьбы в деревне.

По иронии истории именно ленинские опыты, совершенно не учитывавшие крестьянство, как действенный фактор истории, окончательно рассеяли прежний оптический обман

и привели к выяснению истинного значения мужика в русской жизни.

Именно после того, как коммунистический эксперимент разбился о железную стену крестьянского сопротивления, когда большевизм, потерпев поражение в своей, по словам Ленина, штурмовой атаке на мужицкую крепость, начал свое отступление и когда стало ясно, что самый характер и формы его «отступательного движения» определяются давлением крестьянства, еще бесправного, но уже умеющего «регулировать по своему» всевластную, ни перед кем не склоняющуюся большевицкую диктатуру, — фигура мужицкого колосса вырисовывалась в свой натуральный рост перед всеми. **Крестьянство оказалось единственной силой в России, принудившей большевизм к отступлению.** В этом факте глубокого значения объяснение настоящего и урок для будущего. Что против воли крестьянства в России ничего сделать всерьез невозможно, что к нему ведут все концы и начала — стало теперь уже общепризнанной истиной.

Вот почему и монархисты говорят уже теперь о «мужицком царе», а палладины буржуазной республики, которая открыла бы в России эру владычества буржуазии на спине того же мужика, в свою очередь объединяются с псевдо-крестьянскими «союзами», чтобы создать себе в их лице пусть фиктивную крестьянскую секцию в надежде таким путем примазаться к мужику. Вот почему также и сугубо ортодоксальные русские меньшевики, продолжающие драпироваться в белоснежные ризы строго пролетарского социализма, преодолевая свою «революционно-марксистскую» брезгливость, проповедуют соглашение с крестьянством, как единственное средство избавить Россию от опасности бонапартизма. И вот почему, наконец, сами большевики, после всех своих с барабанным боем и звоном литавр отпразднованных бесчисленных «пролетарских побед» устами Рыкова меланхолически заявляют: **«весь вопрос** о прочности пролетарской диктатуры заключается в том... насколько жизненные интересы главной массы трудящегося крестьянства найдут удвлетворение в советском союзе».

Весь вопрос! Как мало воды утекло с тех пор, как большевики твердо верили, что весь вопрос заключается в том, чтобы бить изо всех сил коммунистической дубиной по крестьянскому черепу и на почве, оплодотворенной его рабским трудом, взращивать пышный цветок коммунизма.

Русское крестьянство еще не завоевало себе политической свободы, но в известном смысле оно уже победило. Оно еще не добилось своего признания de jure хозяином русской земли, но признание de facto получено им всеобщее.

Большевики, начавшие свой опыт штурмом крестьянской цитадели, ненаходившие достаточно сильных слов для заклеймения ненавистной им «мелко-буржуазной стихии», теперь говорят о крестьянстве как чистокровные народники, употребляя даже эсэровскую терминологию.

Крестьянство из антисоциалистического враждебного пролетариату класса, которого нужно было насильно шпицрутенами гнать в коммунистический рай, чарами сталино-бухаринской диалектики, превратилось в необходимого союзника для строительства социализма. Союз с крестьянской массой, за исключением лишь ее кулацкой верхушки, является сейчас основным домгатом веры нэповского большевизма.

В резолюции XIV-го Съезда РКП торжественно и внушительно сформулированы те самые идеи, которые служат конкретными выражениями революционно-народнической идеологии.

«...Середняцкие слои крестьянства, читаем мы в ней, чрезвычайно усилились и эти слои составляют теперь, несмотря на процесс дифференциации, основную массу крестьянства. **Не имея этой массы в качестве прочного союзника или ограничиваясь одной лишь нейтрализацией этих слоев, нельзя строить социализм.**»

Без крестьянства нельзя строить социализма. Как видим, большевики заговорили совершенно по эсэровски. Но это, так сказать, «эсэры поневоле». Раньше, когда строительство социализма связывалось ими с надеждами на мировую революцию, у большевиков не было нужды менять в этом вопросе свою позицию ...и терминологию. Теперь, в виду «затяжки» мировой революции, им пришлось для оправдания своей диктатуры провозгласить, что строительство социализма возможно и в одной стране. Но когда эта «одна страна» почти сплошь крестьянская Россия, где в борьбе с крестьянством ничего строить нельзя, «строителям» волей неволей надо провозгласить его союзником, иначе вся новая теория разлетелась бы впрах. И недаром Бухарин клеймит как опасную ересь всякое выражение сомнения на этот счет. «Мы имели отрицание идеи строительства социализма вместе с крестьянством, говорил на Съезде, отрицание, основанное на мысли, что крестьянство является абсолютным антогонистом и даже контрреволюционным «союзником» рабочего класса. При таком подходе совершенно естественно отрицать возможность строительства социализма в нашей стране». Ну, а отрицание этой возможности равносильно отрицанию какого бы то ни было raison d'être за большевицкой диктатурой.»

Вот откуда берет свое начало большевицкое «народничество». Это народничетсво «только с другой стороны.»

Равноправному объединению крестьянства с пролетариа-

том и трудовой интеллигенцией в строе широкого народовластия для вольного совместного творчества новых форм жизни противопоставляется смычка бесправной деревни с госпромышленностью в условиях абсолютистской диктатуры. В этом пресловутый союз большевиков с крестьянством. Большевики по всякому поводу и без всякого повода кричат о своем союзе с ним. Как будто бы действительно речь шла о двух равноправных сторонах, свободно договорившихся на известных условиях о совместных действиях. На самом же деле столь лирически воспеваемый большевицкими идеологами «союз» сводится к уступкам в экономической области, делаемой диктаторской властью крестьянству под давлением необходимости, причем мера этих уступок определяется односторонне тою же властью в порядке диктатуры.

Еще в 1921 году Ленин в докладе о продналоге весьма отчетливо сформулировал линию поведения большевизма по отношению к крестьянству. «Пролетариат руководит крестьянством, но этот класс нельзя так загнать, как загнали и уничтожили помещиков и капиталистов, надо долго и с большим трудом и лишениями его переделывать... Мы открыто, честно без всякого обмана крестьянам заявляем: для того, чтобы удержать путь к социализму мы вам товарищи крестьяне сделаем целый ряд уступок, но только в таких пределах и в такой то мере, и конечно сами будем судить — какая это мера и какие пределы». Эту линию наследники Ленина проводят неукоснительно и теперь.

По существу смычка выражается в частичном возвращении крестьянству той экономической свободы, которую большевизм отнял у него в эпоху военного коммунизма, но только в частичном возвращении, а не более. И это большевики уже считают достаточным основанием для прочного союза! Между тем, они забывают лишь, что даже при царизме крестьянство пользовалось всей полнотой экономической свободы, ему не приходилось вырывать ее крупицами, как теперь, и тем не менее до союза его с самодержавием было очень далеко, ибо слишком велика была между ними противоположность социальных интересов. То же явление в известной мере, хотя в иных формах, имеет место и в большевицком царстве. Большевики сняли с крестьянства только часть оков, чтобы воскресить в нем убитую военным коммунизмом хозяйственную энергию и сомкнуть его через свободную торговлю **и частный капитализм** с госпромышленностью. Но они продолжают в то же время держать его на цепи, изолируя его от мирового рынка своим внешторгом, строя против него «единый фронт и жесткую дисциплину хлебозаготовительных органов», дабы обеспечить себе выкачивание из него создаваемых его трудом рессурсов для питания той же гос-

промышленности, которая к тому же крестьянских потребностей удовлетворить не может.

Смычка, которая якобы осуществляет союз крестьянства с большевизмом, является по существу лишь средством жесточайшей эксплоатации крестьянина большевицким государством. Ему отпущено экономической свободы ровно в той мере, в какой необходимо, чтобы дать ему импульс к производству материальных благ, но не настолько, чтобы он мог пользоваться полностью продуктами своего труда и поднимать технический уровень своего хозяйства, основу своего благополучия. Цель большевицкой политики в деревне сталась та же, только формы ее осуществления изменились.

Не лучше обстоит дело с «союзом» и в области политической. Здесь союз выражается в рабоче-крестьянском блоке — этом втором ките большевицкой крестьянской политики. Но «блок» понимается и осуществляется ими так же своеобразно, как и смычка. В их толковании сущность блока сводится к обеспечению руководства пролетариата, то есть коммунистической партии, крестьянством и к недопущению последнего освободиться от положения руководимого. Иными словами, все сводится к диктаторской опеке коммунистов над крестьянскими массами, всеми мерами удерживаемых в состоянии «людской пыли».

Весьма яркий свет на эту суть дела бросили, между прочим, некоторые откровенные заявления нового «народника» Бухарина на том же XIV съезде РКП, имевшие целью «разоблачить» оппозицию. Оказывается, что в области комсомола от нее исходило по истине неслыханное предложение, что вокруг комсомола нужно создавать делегатские собрания из беспартийной середняцкой молодежи. Оно было отвергнуто большинством Ц. К. Почему оно было отвергнуто? — Потому, разъснил ярый крестьянофил Бухарин, потому, «что мы считаем, что если бы мы сейчас стали организовать середняцкую молодежь вокруг комсомола, то эта организация превратилась бы фактически в **антипролетарскую организацию** (курсив мой Е. С.), хотим ли мы того или нет, а мы этого не хотим, потому что это может означать разрыв блока между рабочим классом и крестьянством, **потерю пролетарского руководства...** Это предложение идет по линии капитуляции пролетариата перед **мелкой буржуазией**.»

Итак, тот самый Бухарин, который так патетически доказывает невозможность строительства социализма без крестьянства, твердо, однако, уверен, что организация молодых крестьян, созданная хотя бы вокруг комсомола, неизбежно долж-

на превратиться в антипролетарскую, то есть антикоммунистическую. Блок допускается им только при условии «пролетарского» руководства, а потеря его означает уже разрыв блока. Крестьяне, следовательно, могут участвовать в блоке, лишь будучи безгласными и лишенными равенства с другой стороны. Мало того, протестуя против тех, кто считает крестьянство «антогонистом пролетариата, чуть ли не контрреволюционным союзником», Бухарин, не замечая противоречия, называет его мелкой буржуазией, а в допущении хотя бы относительной свободы его организации — «капитуляцию» перед ним.

Большевики в своем отношении к крестьянству в действительности остались теми, что и были и природы своей не изменили. Крестьянство для них попрежнему лишь мелкобуржуазная стихия, враждебная их власти и которой поэтому опасно предоставлять настоящую свободу в какой бы то ни было мере, как в экономике, так и в политике. И если нельзя более применять к нему — ибо руки стали короткими — прямое и голое насилие, то надо действовать хитростью, показывая ему благожелательное «лицо», крепко в то же время держа вожжи «руководства». А вся неонародническая фразеология большевизма лишь цветы, покрывающие цепи, которыми большевицкий строй связывает мужика. Большевики отдают себе теперь ясный отчет в громадной силе русского крестьянства и понимают, что единоборствовать с ним значит — лезть на рожон. Они поэтому и придумали смычку и блок и клянутся в своем крестьянофильстве. Но все это лишь отчаянные попытки обмануть своего «союзника». В основе своей их отношение к нему остается прежним. И это не только потому, что большевизм не в состоянии переделать свою глубоко антикрестьянскую природу. Всякая иная политика, основанная на честном признании за крестьянством прав на равенство и свободу, неизбежно привела бы к краху диктатуры, весь смысл которой заключается в держании на узде крестьянских масс. И в этом, конечно, залог неминуемой ликвидации большевицкой диктаторской власти теми или иными путями.

Диктатура компартии, прикрывающаяся флагом «пролетарского» коммунизма, и великая, необъятная трудовая крестьянская Русь, разбуженная громами революции к исторической жизни — две вещи «несовместные». И когда Рыков заявляет, что прочность этой диктатуры зависит от того, насколько широкие массы трудящегося крестьянства найдут удовлетворение в советском союзе, он собственными устами читает ей смертный приговор.

Другая часть русского марксизма, в целом всегда отрицавшего мужика, — русские меньшевики справедливо и резко клеймят теперь крестьянскую политику большевизма.

Смычка, доказывал недавно «Социалистический Вестник», означает «не союз с крестьянством, как с сознательной самостоятельной силой — хотя большевики очень много и охотно говорят о таком союзе, а использование, как орудия... для того, чтобы заставить его поддерживать и терпеть политику, в данный исторический период неотвечающей его коренным классовым интересам... Смычка это попытка обмануть класс»...

Русские меньшевики восстают против отношения большевизма к крестьянству, но свою старую ортодоксальную социальную оценку его не изменили. И в этом отношении они сходятся и с откровенными большевиками. Крестьянство в целом для них по прежнему мелко-буржуазный собственнический класс, проникнутый узко индивидуалистической психологией и по своим классовым интересам антагонистичный пролетариату. Меньшевики отказываются даже делать различие между разными слоями крестьянства, а «теорию середняка», как элемента трудового, высмеивают со всей силой своей марксистской иронии.

«Надо, пишет Р. Абрамович в «Социалистическом Вестнике», забыть основные начатки марксистской, да и просто всякой экономической грамоты для того, чтобы дойти до конструирования принципиальной экономической разницы между «середняком», «зажиточным» мужиком и кулаком, договориться до утверждения, что середняк не мелкий буржуа». Ибо согласно старомарксистской догме, даже середняцкая масса состоит из «хозяйчиков», побуждаемых к производству прибыли, «пусть маленькой, но все же прибыли».

Ясно, что с таким ужасным «эксплуататорским» классом, пролетариату объединяться не приходится.

Меньшевики, как видим, действительно ничего не забыли и этим гордятся, но увы, также ничему и не научились.

Но они все же вынуждены признать преобладающую и решающую роль русского крестьянства в России. Они вынуждены признать, что «на горизонте русской истории с совершенной отчетливостью и ясностью обрисовываются гигантские контуры русского мужика, осознающего себя экономически и во всех остальных отношениях все больше и больше «хозяином земли русской».

Меньшевикам, которые при царизме считали движущей силой революции буржуазию и от столкновения ее интересов с самодержавием ожидали обновления России, теперь стало ясно, что без крестьянства невозможна демократиче-

ская ликвидация большевизма, ни создание строя народовластия.

Клеймя большевицкую политику смычки, они поэтому противопоставляют ей политику «соглашения пролетариата с крестьянством». Но соглашения, на которое нужно итти без всяких иллюзий, отдавая себе отчет, что соглашаться приходится не с родственной социальной силой, а с классом «мелких товаропроизводителей». Естественно, что с такой точки зрения соглашение может считаться возможным лишь на почве «добровольного компромисса», путем уступок предполагаемым собственническим и узкоиндивидуалистическим насторениям крестьянства. В платформе меньшевистской партии, выработанной еще два года тому назад, этот дух «добровольного компромисса» нашел свое выражение, во-первых, в требовании широкой денационализации промышленности, а, во-вторых, в обеспечение крестьянству широкой возможности выхода из общины и в предоставлении отдельным домохозяевам свободного распоряжения находящейся в их владении землей. В части чисто аграрной программа меньшевиков сводилась, таким образом, фактически к требованию восстановления в России частной земельной собственности.

Правда, «Социалистический Вестник» годом позже пояснил, что обеспеченность владения и право распоряжения достижимы и там, «где крестьянство владеет землей не на праве частной собственности, а долгосрочной аренды, которая включает в себя очень широкое право распоряжения вплоть до переуступки арендных прав».

Но во всяком случае, утверждал орган меньшевиков, мы из этого, то есть вопроса о том, нужно ли сохранить в России огосударствление земли или отменить ее, — «принципиального вопроса» не делали.

В этом утверждении о принципиальном безраличии к тому, будет ли на необъятных пространствах России земля под режимом частной или государственной собственности, утверждении, исходящем в добавок от социалистов, искренних борцов за социальный прогресс, кроется поистине потрясающее непонимание тех условий, при которых возможен такой прогресс в своеобразных условиях нашей революционной родины. Его можно объяснить только упорным и закоренелым предвзятым отношением к крестьянству, рассматриваемому, как буржуазный класс, который при любом земельном режиме и каков бы он ни был, способен лишь подпирать здание капитализма. При такой точке зрения, при такой, так сказать, органической антикрестьянской идеологии «безразличие» понятно. Но от этого оно все же не пере-

стает быть чисто надуманной их позиция и, ни в малейшей степени не связанной с правильной оценкой русской социальной действительности, как она сложилась после революции.

Принципиально безразлично, говорят нам меньшевики. Безразлично? Для этого нужно было хотя бы доказать, что все же далеко не решало бы еще спора — что земельный строй России аналогичен западному, существующему в условиях развитого капитализма и никакими особенностями, никаким своеобразием от него не отличается.

Чтобы дать на этот вопрос немедленный и категорический ответ в обратном смысле, не нужно даже надевать научно-исследовательских очков — достаточно только открыть глаза и посмотреть.

Россия представляет собою величайшую по размерам аграрную страну современности, страну по своей внутренней социальной структуре преимущественно сельскую и **где вся земля находится в руках крестьянства**. Земельный строй России отличается той капитальной особенностью, что не только вся удобная земельная площадь, за исключением государственных земель, принадлежит крестьянству, что не существует крупного не трудового землевладения, но что **земля находится в руках крестьян на началах уравнительного пользования.** Русское крестьянство на ряду с этим и в силу этого является единственным хозяином всего земледелия в, повторяем, величайшей аграрной стране современности. И, наконец — и это самое главное, окрашивающее в свой цвет весь фон гигантской картины — при всех перечисленных исключительных, нигде, кроме России несуществующих особенностях — **огосударствление земли,** невозможность ее купли-продажи, превращения ее в товар.

Земельный строй России по своей форме, по своему внутреннему характеру является сейчас единственным в мире. А огосударствление земли служит, как может показаться с первого взгляда, не куполом этого своеобразного глубокой трудовой идеологией проникнутого строя, созданного отнюдь не декретами большевиков, а подготовленными творческими вековыми усилиями самого крестьянства и русской историей, но его **фундаментом.** И при виде такой картины разве можно сомневаться в том, что этот земельный строй, сохраненный и очищенный от большевицких искажений, в условиях свободы и народовольствия явился бы почвой для колоссального социального прогресса? Разве можно сомневаться в том, что построенные на трудовых началах, на трудовом праве земельные отношения в земледельческом сельском государстве

открыли бы широчайшие перспективы передового социального творчества в интересах труда и тем самым создали бы для демократии могучую, нерушимую базу, глубоко уходящую в матерь-землю. В России, где условия и традиции и психология масс иные, чем на Западе, ибо иными были и ее исторические пути, народовластие и настоящий социальный прогресс могут быть прочно обеспеченными только при наличии такого базиса. Не даром все лучшие передовые русские мыслители — Герцен, Чернышевский, Лавров, Михайловский — выдвигали огосударствление земли, как краеугольный камень обновления и освобождения России. Недаром это требование фигурировало, как центральный пункт в программах рождавшихся и сменявших одна другую, сохраняя свою идейную преемственность, всех русских революционных партий. Лишь марксистская социалдемократия поздно появившаяся на арене России и пытавшаяся перенести целиком на русскую почву чуждые и не из этой почвы выросшие взгляды западного марксизма, составила в этом отношении исключение... Сохранение режима огосударствления земли — безразличное для меньшевиков — было бы громадным шагом на пути к будущему и, конечно, определило бы для России и особый своеобразный в соответствии с ее своеобразием путь к социализму, как своими отличными от Запада путями идет к своему освобождению рабочий класс непохожей на Европу, сверхиндустриализированной, развивающейся на основе неслыханного бешеного технического прогресса Северной Америки.

Карл Маркс на склоне своей жизни признал такую возможность для России и признал, как видно из недавно найденных его записей и рукописей, на основании серьезнейшего научного изучения русской действительности по материалам-первоисточникам. И это было тогда, когда еще трудно было точно предвидеть, какой размах примет грядущая русская революция. Теперь, увы, приходится убеждать в этом его «безразличных» учеников.

Прокламируя свое безразличие, они забывают лишь, что даже на Западе, где наступает уже начало конца чисто капиталистического периода и где существуют огромная индустрия и многочисленный пролетариат, а аграрный вопрос не имеет решающего значения для экономической эволюции, социалисты тоже уже не могут позволить себе такой роскоши. А. Россия, где капитализма еще нет, стоит еще только на распутьи исторических дорог и от того, во что выльется в конечном счете ее земельный строй, зависит направление, которое примет развитие и ее экономики и социальных отношений. Капиталистическая или трудовая Россия? Этим определится не только ее собственная судьба, этим определится

также степень и сила ее участия в общем наступательном движении трудового человечества, борящегося за новую жизнь.

* *
*

Конечный идеал меньшевиков, как социалистов, строй обобществленной собственности и производства.

И если они для ближайшего периода не высказываются определенно за огосударствление земли, что входит в их программу максимум, то только из опасения оттолкнуть к «бонапартизму» крестьянство, у которого предполагаются стремления к частной земельной собственности. Еще до революции, когда партия социалистов-революционеров выдвинула, как центральный программный пункт, социализацию земли, русские марксисты всех оттенков дружно обвинили эсэров в беспочвеннейшем утопизме. И тогда «реалистическими» критиками указывалось на то, что это требование утопично, ибо противоречит собственническим индивидуалистическим инстинктам «хозяйчиков» крестьян, безоговорочно отнесенных к стану буржуазии. Правда, существовала в России крестьянская община, наличность которой как будто давала эсэрам некоторое основание требовать социализации земли, то есть фактически лишь расширения общинного режима на всю сельско-хозяйственную территорию России. Но ученые исследователи и статистики марксистского лагеря, нагромождая цифры и данные с аппломбом доказывали, что община — пережиток уходящего прошлого — уже доживает свои последние дни и что бурная стихия растущего молодого русского капитализма не преминет окончательно смести ее с лица земли. Общину хоронили и хоронили и когда недоброй памяти Столыпин начал свой натиск против, ее уже просто и сразу зачислили в покойницы. «Ты жив еще, но ты уже мертвец».

Но вот пришла революция и утопия оказалась живой реальностью. Крестьянство собственническое, индивидуалистическое, все своей массой приняло программу социализации земли, — клич — земля ничья, земля божья — пронесся из конца в конец революционной крестьянской России, как идеологическое обоснование ее земельных чаяний и той программы, за которую оно голосовало. Похороненная «реакционная» община в свою очередь оказалась еще настолько мощной, чтобы с изумительной быстротой впитать в себя обратно выделившихся из нее и превратиться в орган величайшей земельной революции.

И, наконец, большевики, чтобы завоевать симпатии все того же «мелкобуржуазного» крестьянства, декретировали ту самую эсэровскую социализацию земли, которая будто бы

противоречила частно-собственническим вожделениям крестьянства. Ленин, в свое время, откровенно заявил, что если большевики взяли у эсэров их земельную программу, противоречащую большевицкой идеологии, то только потому, что ее требовали крестьянские массы. «Мы не можем не считаться с требованиями низших слоев, заявил тогда Ленин, даже в том случае, если бы были с ними несогласны».

Таким образом, если базироваться на опыте революции, то невозможно отрицать, что эсэровский утопизм был оправдан жизнью и все рассуждения о собственнической стихии русского крестьянства оказались плодом испуганного воображения.

Теперь, когда опыт революции еще у всех глазах и результаты его получили реальное воплощение, снова раздаются все из того же марксистского стана старые песни, даже не на новый, а все на тот же старый лад о «хозяйчиках», мелкобуржуазности и земельнособственнических вожделениях.

В революции крестьянство, вопреки пророчествам кассандр марксизма, этих «качеств» не обнаружило. Теперь они ему приписываются, как благоприобретение уже в результате революции. Ибо раз согласно догме русская революция есть «буржуазно-крестьянская революция», то она обязана породить буржуазное собственническое крестьянство. А раз обязана, то, следовательно, и породила.

Выходит, что именно революция, совершенная под знаком трудовых идей совместными усилиями пролетариата и крестьянства и разрушившая еще не успевший окрепнуть русский капитализм, как раз то и пробудила в русском крестьянстве инстинкты собственника и буржуа, раньше в нем не проявлявшиеся с достаточной силой.

Между тем, при старом режиме деревня в экономическом отношении была менее нивеллирована, чем теперь и все же как никак тогда существовал городской капитализм, связанный с крестьянским хозяйством и оказавший известное воздействие на крестьянство. Теперь же нивеллировка крестьянства гораздо значительнее, оно стало экономически более однородным, почти сплошь трудовым, с громадным преобладанием середняцких элементов и настоящий капитализм, могущий влиять в известном смысле на крестьянскую психологию пока что в России тоже отсутствует: И вот в силу каких то непонятных процессов, если и верить марксистским теоретикам, то, что согласно логике скорее должно было иметь место до революции, выявляется как раз теперь, когда общая обстановка тому менее соответствует.

В русской марксистской прессе, а также и в писаниях идеологов-большевицкой оппозиции много места занимают теперь рассуждения о быстро будто бы растущем деревен-

ском капитализме. Все эти рассуждения основаны на том, что благодаря нэпу крестьянин снова стал товарным производителем, что он выносит на рынок и продает свои излишки, как товар. Никаких других доказательств не приводится .

Если в этом видеть признаки деревенского капитализма, то такой «капитализм» существовал еще до рождения современного капиталистического общества, еще, можно сказать, при царе Горохе. Капиталистический характер производства до сих пор определялся как будто несколько иначе. И к категории капиталистических как будто относили обычно только предприятия, в основе своей построенные на эксплуатации наемного труда и имеющие своей социальной задачей выжимание прибавочной стоимости для предпринимателя. Где же и в чем проявляется в нынешней России деревенский капитализм?

Л. Крицман, редактор «Экономической Жизни», в своей недавно вышедшей работе «Классовое расслоение советской деревни» утверждает, что «капиталистическая (и полукапиталистическая) часть крестьянства теперь численно ничтожна — это 2—3%, во всяком случае не более 5% крестьянства». Не более 5%, да еще включая сюда полукапиталистические элементы! Тот же Крицман приводит данные ЦСУ, из которых явствует, что крестьянское хозяйство с более чем двумя головами рабочего скота составляли в 25 губерниях РСФСР в 1924 году 4% всех крестьянских хозяйств, с двумя головами 10%. Между тем, справедливо указывает тот же Крицман, уже хозяйства с одной головой рабочего скота (их оказалось 53%, а без рабочего скота 32½%) являются в значительной, возможно и в большей части, маломощными, бедняцкими хозяйствами». Таков деревенский капитализм в России, мифическое существование которого уже служит поводом для выработки новых замысловатых теорий.

Ведь, вот, например, Р. Абрамович увлекается до утверждения, ничтоже сумняшася, что нэп за какие нибудь пять лет, — уже привел к изменению не только экономического, но даже социального состава крестьянства. За пять только лет! Он видит далеко идущую дифференциацию деревни. И в доказательство дифференциации проводит таблицу, из которой явствует... как раз обратное.

Таблица, заимствованная Абрамовичем из статьи большевицкой исследовательницы Хрящевой, показывает, что с 1921 по 1924 гг. уменьшилось количество, как беспосевных (с 5½ до 3,1%), так и мелких хозяйств, но зато увеличились середняцкие хозяйства, с посевом от 2 до 4 десятин (с 30,2% до 32,9%), от 4—6 десятин (с 58,5% до 12½%). Увеличились также выше-средние хозяйства от 6 до 10 десятин (с 2,7% до 5,5%), зато они составляют ничтожный процент, помимо

того, для определения их типа недостаточно знать размеров посева, но надо знать и численность крестьянской семьи. Наконец, группа хозяйств, которую можно было бы назвать высшей, с посевом от 10 до 16 поднялись с 0,1 до 0,7%, а выше 16 десятин составляет 0,1%.

Таким образом, мы видим, что бедняцкие и полубедняцкие хозяйства количественно уменьшились в то время, как увеличились средние, т. е.: усилилась однородность крестьянства, хозяйства же, выше средние и высшие, хотя тоже увеличились, представляют относительно микроскопическую величину. Всякому знакомому с вопросом, известно, однако, что дифференциация характеризуется как раз обратными признаками — сокращением середины и ростом за ее счет флангов, с одной стороны, бедняцких, а с другой, крупных. Р. Абрамович же серьезно принял за дифференциацию рост середняцких хозяйств за счет уменьшения низших групп.

А что всего любопытнее, что хозяйства, которые можно было бы назвать капиталистическими, если бы было установлено, что они ведутся наемным трудом, от 10 до 16 десятин, всего на всего составляют 0,7%. В этих то 0,7% воплощается повидимому грозная сила деревенского капитализма. И даже, если зачислить в эту категорию целиком все выше — средние хозяйства, то все же получится не более 6%.

Для выяснения наличности в крестьянстве земельнособственнических тенденций имеется во всяком случае более точный и неоспоримый критерий — это характер землеустройства. Крестьянство живет в массе под режимом общины, но имеет и при большевицком строе широкую возможность единоличного выхода из нее. Индивидуалистические инстинкты крестьянства должны были бы раньше всего проявиться в росте числа таких выходов.

Но что же мы видим на самом деле? Последние данныя по землеустройству, недавно проанализированные К. Р. Кочаровским (в «Современных Записках»), показывают, что по всей России за все время единоличные выходы (вместе с отрубами) составляют 2,5%, а общинное и производственно товарищеское землепользование составляет 97,5% всей землеустроенной площади. Больше того единоличные выходы сильно сократились как раз после 1923 года.

Все предположение о крестьянском собственничестве в общем строятся на том, что прочное владение и свобода распоряжения землей, являются необходимыми условиями прогресса земледельческого прогресса. Крестьянство, осуществив свою главную цель — овладев землей, теперь неизбежно должно будет стремиться в силу указанного закрепить ее за собой на началах частной собственности.

В этих чисто абстрактных рассуждениях есть один коренной дефект: упускается из виду, что огосударствление земли вовсе не явилось для деревни радикальной мерой, ломающей его хозяйственный уклад. Русские крестьяне в громадной части своей и до революции, благодаря режиму общин, не были частными земельными владельцами и в этих условиях, приспособляясь к ним, складывалось, развивалось и росло его хозяйство, положив на него свой глубокий отпечаток. У него поэтому не может быть сильных экономических или психологических стимулов для борьбы против огосударствления земли.

Впрочем, и сами меньшевики еще в прошлом году констатировали, что борьбы такой крестьянство не ведет. Резюмируя результаты восьми анкет, произведенных членами меньшевистской партии в деревнях нескольких районов России, «Социалистический Вестник» писал: «На основании своих практических наблюдений они (авторы работ Е. С.) указывали нам на различные нужды деревни. Но среди всех этих требований, лозунгов и пожеланий **ни разу не встречается** требование частной собственности на землю. Очевидно, не в этом месте жмет крестьянский сапог. Не в этом главная болячка современной России».

Но если не в этом месте жмет крестьянский сапог, то где же крестьянское и собственничество?

Политика соглашения с крестьянством на основе «добровольного компромисса», которую меньшевики выдвигают в противовес смычке, есть в сущности попытка найти компромисс между догмой и действительностью. Но не этим путем, не путем противопоставления революционных классов пролетариата и крестьянства, как двух экономических и социальных противников, соглашающихся лишь на временной платформе ценою выбрасывания основного завоевания революции, может быть обеспечено торжество народовластия и широкий социальный прогресс в России. И мы видели, что попытки обосновать такое противопоставление изображением «собственничества» русского крестьянства, его буржуазности, как и капитализацией деревни, совершенно не соответствуют действительности. Только тесное объединение выступающих под единым знаменем тех сил, которые совершили русскую революцию — крестьянства, пролетариата и цементирующей их трудовой интеллигенции, способно двинуть вперед развитие России в соответствии с великими началами, революцией провозглашенными. Меньшевики, упорно игнорируя своеобразие русских условий, все еще боятся,

что единение рабочего класса с трудовыми массами деревни затемнит в сознании первого остроту его противоречия с капиталистическим обществом. Такая боязнь на Западе при самом зарождении социалистического движения могла еще быть понятной. Там крестьянство было резко индивидуалистично и органически связано с строем капитализма. Там при наличии такого крестьянства и в условиях бурного развития мощности капитализма вполне естественным было стремление со стороны социализма ограничиваться чисто пролетарским базисом и опираться только на него в борьбе за свои освободительные идеалы. Теперь и на Западе социализм уже поворачивается «лицом к деревне», потому что деревня начинает поворачиваться спиной к капиталистической буржуазии. Но когда же в России крестьянство было опорой или союзником буржуазии? В России вообще все совершенно иначе. Положение русского пролетариата в стране, где сельское хозяйство составляет основу национальной экономии, будет поистине трагическим, если он не сплотится в одну трудовую армию с труженниками полей. А разрыв между ними образовал бы широкую брешь, в которую не преминули бы проникнуть, расширяя ее, элементы, враждебные завершению революции. И наоборот — единение пролетариата с крестьянством, не подвергавшимся вековому влиянию капитализма и вместе с пролетариатом проделавшего революцию во имя трудовых идеалов, дало бы неизбежно мощный толчек широкому строительству новых форм социальной жизни под знаком тех же идеалов, строительству, ускоряющему переход к более совершенному общественному строю. Программа партии социалистов-революционеров была проникнута острым предчувствием громадного исторического значения такого единения движущих сил революции. Но теперь, когда выяснилось до ослепляющей очевидности исключительная всеопределяющая роль русского крестьянства, в лице которого создается широкий и крепкий фундамент для политической и социальной демократии, лозунг единения всего трудового мира России становится еще более отвечающим потребностям жизни и истории.

Все, что мешает такому союзу в какой бы то ни было мере, должно быть категорически и безжалостно отброшено. Ибо только в нем условие демократического выхода из большевицкого тупика и залог истинного обновления.

Е. Сталинский.

Социальный строй России.

(Продолжение).

V. ПРОЛЕТАРИАТ.

Как и на Западе, в России с буржуазией прямо — в производстве — связан и прямо ей — в классовой борьбе за распределение — противопоставлен пролетариат. Как и она, он по настоящему родился лишь после реформ. До реформ население было еще слишком редким, просторы земельные слишком велики, а промышленность и города слишком слабы, чтобы выработать мало мальски заметный и своеобразный класс пролетариата. Промышленность тогда двигалась крепостным трудом, крепостной фабрикой. Образовавшиеся местами скопления чернорабочей бедняцкой вольницы были невелики, случайны и как общее правило, не могли иметь характера постоянного индустриально-городского пролетариата.

Основной источник образования пролетариата в России — в условиях освобождения крепостных крестьян. Значительная их доля — не менее трети и до половины — получили наделы или слишком ничтожные (вышедшие на «даровой» надел), либо слишком низкого качества и настолько обремененные платежами (большая часть крепостных нечерноземной России), что крестьяне называли этот надел «не кормителем, а раззорителем» и массами «бежали от земли», ища сторонние заработки. Из этих то полубезземельных крестьян и составилась в главном армия российского пролетариата. Так как при этом, как уже указано, города и индустрия стали заметно развиваться лишь с 80— 90-х годов, то *нашему пролетариату, как самостоятельно существующему классу, насчитывается всего около полувека.*

В силу вышеуказанных условий, количественное его развитие шло довольно быстро, повидимому обгоняя естественный рост населения и создало ряд значительных индустриальных и городских пролетарских центров. Цифру «пролетариата», понимая под таковым всех наемных рабочих в промышленности, в

торговле, в личных услугах и т. п. но без земледельческих наемных рабочих, (которые у нас, как общее правило, невыделимы из крестьянства) по вышеуказанным данным надо считать до 12—15 миллионов душ, т. е. до 10% населения. Но, конечно, со стороны качественной в такой короткий срок немыслимо было образование законченного типичного пролетариата. И в России он — по крайней мере пока — получил совсем своеобразную физиономию.

На западе пролетариат, в силу оторванности от земли и слабой социальной активности трудовой интеллигенции, как таковой (эта активность развивается там лишь теперь), испытывал, кроме своих собственных переживаний, лишь одно влияние со стороны другого класса: со стороны буржуазии. Западный пролетарий, подавленный механическим, автоматизующим трудом и такой же бытовой обстановкой, живет как бы в чужом гнезде, в готовых, изготовленных буржуазным строем и бытом клетках. Он составляет в своем быте и психологии последнюю ступень в длинной лестнице подражаний и переотражений: средний буржуа старается подражать миллионеру, мелкий — среднему. фабричный мастер — мелкому рантье (а часто и сам таковым является), рядовой рабочий (часто тоже с собственническими прожилками) мастеру. Таким образом, на Западе пролетарий, помимо своих собственных, в силу обезличивающих условий, сравнительно слабо выраженных черт, запечатлен чертами буржуазии: там он «*буржуазирован*», если можно так выразиться. И это буржуазирование пролетариата с течением времени все растет (поскольку с ним не борется классовое социальное самовоспитание): самый буржуазированный пролетариат образовался в стране наибольшей мощи капитализма — в Америке.

Такое буржуазирование пролетариата в России, хотя, конечно, тоже происходило и происходит, но в гораздо меньшей степени, соразмерно с меньшей типичностью и меньшей активностью здесь буржуазии. При этом в России оно осложняется и ослабляется влиянием двух других, как нигде на Западе сильных и активных классов: крестьянства и интеллигенции. Если на Западе пролетарий в социально-бытовом и психологическом смысле есть сумма преимущественно двух слагаемых — самого себя и буржуа, — то в России он есть сложная равнодействующая четырех социальных типов: пролетария, буржуа, крестьянина и интеллигента.

До какой степени русский пролетарий мало оторвался от деревни от «матери сырой земли», показывают данныя, по которым среди рабочих на иных фабриках и в иных районах оказывалось до $^{9}/_{10}$ крестьян по сословию, т. е. либо самих земледельцев, либо потомков земледельцев. Насколько наш городской пролетариат происходит из деревни, это можно видеть, напр. из того, что в Петрограде было крестьян: в 1869 году — всего

34%, в 1882 г. — 41% и в 1897 году — 59%. При этом не менее половины русских пролетариев сохраняли и живую связь с деревней: во множестве это — лишь сезонные отхожие земледельцы, во множестве это — крестьяне, имеющие в деревне землю, семью, родных и скапливающие сбережения для возвращения и развития оставленного в деревне хозяйства. У этой половины русского пролетариата социальная психология уже прямо имеет крестьянский характер. Остальная половина, частью также имеющая связи и впечатления от деревни, частью подверженная влиянию крестьянской части пролетариата, конечно, тоже не может иметь чистой индустриально-городской пролетарской психологии.

Эта «*руральность*» русского пролетариата, конечно, не могла не наложить на него глубоко своеобразного отпечатка, — главным образом, в трех проявлениях. Во-первых, личность его свежее и непосредственнее, он менее механизован и «автоматизован», более независим и «автономен» среди индустриально-городской среды, которая ему еще сравнительно чужда и которая меньше его гипнотизирует. Во-вторых, частью в силу этой бо́льшей независимости от среды, частью вследствие молодости, неактивности и некультурности русской буржуазии, он, как указано, меньше поддается ее влиянию. В-третьих, в нем живут, им в значительной степени руководят целестремления, социальная психология и идеология русского крестьянства и он, вопреки некоторым контрастам интересов, связан сильными духовными нитями с сельской культурой.

Сохраняя снизу эту органическую связь с жизнью и историей своей земли, русский пролетариат встретился и связался в городе с той весьма своеобразной и активной русской социальной группой, которая дала ему некоторые «откровения свыше» — универсальные ценности культуры, мировые социальные идеи: встретился с русской интеллигенцией. При молодости и свежести русского пролетария, при углубленном контрасте его тяжкого труда, скудного быта и бесправия с богатствами буржуазии и всевластием самодержавия, при силе в нем вынесенных из деревни бытовых коллективистических навыков и целестремлений, интеллигенции легко было его ферментировать, революционизировать, ввести его в социальную и политическую революционную борьбу.

В результате этих условий и этих влияний, самодеятельность, целестремительность и организованность русского пролетариата стоит сравнительно высоко, — если в некоторых отношениях ниже, то быть может в некоторых отношениях и выше, — чем западного. Само собою разумеется, что самодержавный режим, — отсутствие легальных профессиональных организаций, зачаточность социального законодательства, бесправие и социальная отсталость, — задерживали и искажали его классо-

вое развитие и творчество. Меньше всего наш пролетариат мог заниматься положительным строительством: не имея той базы некоторой фактической автономии и бытового органического кооперативизма, какая есть у крестьянства, он несомненно отстал от последнего в типах, в интенсивности кооперативных организаций, равно как и в инициативах культурной самодеятельности. Но в экономической и политической борьбе он проявил значительную энергию. Уже с 80-х годов датируют массовые стачки, с 90-х годов он быстро пронизывается нелегальными кружками, а затем, с начала 20 века, вместе со студенчеством и крестьянством вступает в горячую политическую революционную борьбу. И на всех выборах от Первой Государственной Думы до Учредительного Собрания 1917 года голосует почти сплошь за социалистов.

Большевицкий эксперимент принес русскому пролетариату большой и жестокий опыт, о результатах которого пока, однако, трудно судить. Разгром промышленности подверг его большим бедствиям, выбросил его в деревню, окунул глубоко в крестьянство, из которого он вышел. Восстановление промышленности, пока достигшее от половины до двух третей рабочего состава, повидимому, в значительной доле рекрутируется из новых элементов, из деревенской молодежи. К большевицкому перевороту, совершенному, собственно, деклассированной деморализованной тыловой солдатчиной, примкнула лишь часть пролетариата. Большевицкий режим, несомненно, высосал, бюрократизовал, а в большой степени и деморализовал заметную долю рабочих полу интеллигентных верхов. Но жестокая и фальшивая жизнь в декорациях пролетарской диктатуры и своеобразное невольное «хождение в народ», в крестьянство должны были, очевидно, дать пролетарским массам и лучшим идейным ее элементам еще один тяжелый урок о гибельности деспотии и «пользе демократии».

В общем итоге относительно пролетариата России можно выдвинуть и подчеркнуть два основных положения. С одной стороны, будучи немногочисленным, сложным, промежуточным и молодым, он не представляет такой значительной и своеобразной силы, как крестьянство и трудовая интеллигенция и скорее отстал от них в социальном и культурном самоопределении. Но, с другой стороны, русский пролетариат, несомненно, проявил больше самодеятельности и организованности, чем буржуазия и особенно в политической борьбе оказался далеко впереди ее.

VI. ТРУДОВАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.

Интеллигенция, как *один из трудовых классов, как класс людей интеллигентного труда*, наименее изучена, наименее принята, наименее понята нами. Между тем, не говоря о суще-

ствовании и о роли такого класса в разные эпохи истории и у разных народов, такая «*трудовая интеллигенция*» в последние десятилетия все определеннее вырисовывается и выступает и на Западе. Раньше она была малочисленнее экономически и культурно играла меньшую роль, а главное — невыделимо была перепутана со столь мощной на Западе буржуазией, теперь же и сама она, и роль ее сильно разрослись, а вместе с тем еще до войны и особенно после войны масса ее оказалась определенно в трудовых низах социальной пирамиды. Таким образом, и на Западе *классовое* выступление *трудовой* интеллигенции уже начинается. У нас же в России своеобразные исторические условия образовали и протолкнули ее далеко вперед, как некий активнейший авангард социальной эволюции и социальной борьбы.

В данном вопросе до сих пор не только отсутствует систематическое обобщающее изучение, но нет еще самых общих определений и терминов. Более того, господствует непонимание самых основных употребляемых нами терминов. В самом деле, *под интеллигенцией мы в разных случаях понимаем три совершенно различных общественных группы* Во-первых, это просто *круг людей с образованием:* когда у помещика соберутся играть в винт фабрикант, местный батюшка и исправник, то мы их называли «местная интеллигенция». Во-вторых, это — люди *духовного творчества и идейной инициативы:* борцы какой-нибудь секты, научное общество, представители социальной и политической идеологии и т. д. В-третьих, наконец, это — именно *люди умственного труда, живущие заработком от этого труда.* Эти группы частью совпадают, частью скрещиваются между собой, в них могут попадать одне и те же личности, но оне существенно различны. Можно все эти группы называть интеллигенцией, но тогда надо различать их прилагательными: например, *первую называть культурной* интеллигенцией, вторую — *идеологической* интеллигенцией, третью — интеллигенцией *трудовой.*

Конечно, и в старой Руси существовали и действовали все эти три вида интеллигенции, и в некоторых областях, — как например, в религии и в анонимном народном творчестве, которое дало крупнейшие ценности и которое именно *анонимно,* но не *безлично* — и старые, малые и раздробленные русские «интеллигенции» сыграли весьма значительную и глубокую роль, нами до сих пор слишком мало изученную и понятую. Но особое и необыкновенно яркое дело сотворено русской интеллигенцией, как группой лиц, воспринявших западную культуру, как некую «критико-активную» силу, внедривших ее в Россию, оплодотворивших ею старую русскую культуру и послуживших ферментом новой российской культуры.

Замечательная, уже двухвековая история этой новой русской интеллигенции, этого роскошного цветка, перенесшего в

Россию цветение Запада, ждет еще объективных, углубленных и плодотворных исследований. Здесь я могу указать лишь основную схему ее трансформаций. Я выражаю ее так: *в России за эти два века собственно сменились три вида интеллигенции — в начале явилась культурная, потом родилась идеологическая и, наконец, сложилась трудовая интеллигенция.*

В восемнадцатом веке наше дворянство постепенно становилось образованным классом. В его лице и в лице немногих других лиц, групп и ячеек, преимущественно служивших государству, в России впервые образовался *верхний слой «образованного общества»*, т. е. того, что можно назвать *«культурной интеллигенцией»*. Тут же складывались — в духовенстве, в чиновничестве, в немногих работниках науки, искусства и техники — первые кадры профессиональной «трудовой интеллигенции». Новая творческо-идеологическая интеллигенция тогда зарождалась лишь в отдельных личностях, в первых «искрах».

С декабристов, охвативших цвет тогдашнего образованного общества (к их делу было так или иначе привлечено до тысячи человек), *рождается в недрах российского дворянства от культурной интеллигенции интеллигенция идеологическая.* Это был редкий в истории пример силы чисто духовных, спиритуалистических целестремлений, во имя которых люди привиллегированных классов выступили против своих интересов и рискуя жизнью пошли на борьбу за благо родины и народа. От них — чрез «кающихся дворян», чрез «народничество» и «народовольчество» — протянулась светлая сверкающая идеологическая нить почти на целое столетие. За это столетие развернулось и мощное культурное творчество, и наша интеллигенция показала Западу творчество новой России — в науке, в литературе, в искусстве.

Но за это же столетие, — особенно начиная с «эпохи великих реформ» — с новой волны культуризации России — совершается еще иная глубокая и многозначительная трансформация русской интеллигенции: она *из культурной обращается в трудовую.* Кроме высших состоятельных классов, — главным образом дворянства, — образуется еще особый слой образованных людей, специально служащих культуре, *профессионалов, так сказать, культуры.* Это были прежде всего выходцы из чиновничества, духовенства, мещанства, реже из купцов, крестьян и рабочих, — это было пришествие так называемых *«разночинцев»*. За четыре десятилетия — с 60 по 90-е годы включительно — русская интеллигенция *перелилась, переформовалась из сословных рамок в классовые*, отстоялась и сгустилась, как особый класс трудовой интеллигенции.

По имеющимся статистическим данным очень трудно определить количество трудовой интеллигенции в России. Если исходить из данных переписи 1897 года и если поставить ей ши-

рокие пределы, т. е., например, включить в ее число квалифицированных торгово-промышленных и конторских служащих (включая переписчиков и т. д.), то такой класс вряд ли окажется меньше буржуазного и составит до 4—5% населения. При этом темп его разростания в последнее время был — как наблюдается в ряде стран и на Западе, — никак не медленнее, а скорее, — в некоторых, по крайней мере, категориях, — быстрее, чем рост пролетариата. Таким образом, даже количественно трудовая интеллигенция представляет в России достаточно заметную силу.

Качественный состав ее уже в 1897 году давал интересную картину. Государственных чиновников было около 225 тысяч, земско-городских (и отчасти сословных), т. е. по преимуществу «третьего элемента» — насчитано было 100 тысяч, духовенства и монахов — около 250 тысяч, лиц же свободных профессий: (учителей, врачей, адвокатов и т. п.) — более 350 тысяч. При этом интересно то, что в этой последней категории женщины составляют около трети и что вообще женский элемент особенно высок и характерен для русской трудовой интеллигенции.

Выходит, что Россия вовсе не характеризовалась многочисленной бюрократией. Если взять общие статистические итоги разных стран (правда, очень неточные, ибо в них в «государственные служащие» зачислялись и учителя, и учительницы), то приходилось чиновников на 100 тысяч населения: в России 62, в Америке — 116, в Германии — 126, во Франции — 176. т. е. если меньше у нас было учителей, то меньше и чиновников. В общем же из русской трудовой интеллигенции лишь четверть обслуживала непосредственно государство, еще четверть церковь, а от трети и до половины служила культуре и культурным нуждам населения. Несомненно, что за двадцать лет после переписи последняя категория — вместе с быстрым ростом техники, народного образования, кооперации и т. д. — еще чрезвычайно возросла. *Уже перед революцией русская трудовая интеллигенция являлась по преимуществу «служилым классом» не государства, а культуры.*

Что касается практической социальной активности и организованности трудовой интеллигенции, то эта проблема стояла сложно и болезненно. Легальные рамки для ее самодеятельности были подавляюще узки: земства, учено-литературные учреждения и т. п. не давали выхода и малой доли ее творческой энергии. Профессиональная организация и борьба, хотя и принимала временами яркие внешние формы, — как учительский союз, «Союз Союзов» и т. п., но была непрочна и служила больше политическим целестремлениям. Вся лучшая энергия трудовой интеллигенции устремлялась именно в эту последнюю сторону, при чем мало могла служить положительному социальному строительству, а толкалась политическими условиями на

острую и разрушительную политическую задачу борьбы против деспотии. Это постепенно истощало ее силы, искажало ее духовное существо, вовлекая в абстракцию вместо опытов, в мистицизм, или в материалистическую догму или в эстетические «искания», вместо созидательного общественного дела. И это подготовляло ее неудачу и разгром во второй революции.

Правда, после первой революции пред русской трудовой интеллигенцией раскрылась было здоровая и торная дорога. Она вступила в два процесса огромной важности. Во-первых, рядом с пародией политической жизни в государственных думах, ей открылась фактическая возможность подлинного, обширного и плодотворного социально-культурного строительства — в земствах, в культурных обществах, и особенно в кооперации, которая в 10—15 лет впитала, воспитала, создала превосходный многотысячный кадр проникнутых и идеализмом, и позитивизмом общественных работников. Во-вторых, что еще важнее, — начался быстрый и могучий процесс дальнейшей демократизации и, так сказать, «*лаборизации*» — углубления трудового характера — русской интеллигенции: процесс ее «окрестьянивания» (а отчасти и «орабочивания»). С одной стороны в нее в этот период прямо вливаются тысячи и тысячи крестьян, проходящих через среднее и высшее образование. С другой — к ней из крестьянства поднимаются и приближаются молодые окультуренные верхи самого крестьянства — собственная «*крестьянская интеллигенция*».

Таким образом, в период *между первой и второй революцией в России назревало событие огромной важности: та встреча между народом — крестьянством — и интеллигенцией*, о которой так страстно мечтала дворянская и разночинная «каявшаяся» интеллигенция и глубокий смысл которой теперь поняло и само крестьянство. В это нами еще совсем не осмысленное, но полное глубокими переживаниями и перерождениями десятилетие начиналось уже не одно только «хождение в народ»», а прочное «вхождение» интеллигенции в народ, «схождение» интеллигенции и народа. И это спаяние двух основных своеобразных социальных сил России происходило не на словах, — а на деле — в самом процессе совместного социально-культурного творчества. В этом спаянии крестьянство взяло бы через интеллигенцию последние плоды культуры, а *интеллигенция перевоспитала бы себя из негативных на позитивные установки, постигла бы уже не теорию только, в самую практику демократии.*

Но разразившаяся в Европе катастрофа сбила Россию с этого здорового и торного творческого пути, ибо застала ее лишь в самом начале его, притом с недостигнутой еще демократией. И огромные задачи великого исторического перелома застали всех врасплох. В 1917 году в России восемь месяцев длилась — благожелательная, но бессильная — *моральная диктатура*

трудовой интеллигенции. Затем часть ее — наиболее исказившаяся в догме и демагогии, захватила вместе с деклассированной солдатчиной, действительную диктатуру.

Конечно, неизбежной задачей большевиков, как ультра-интеллигентов и отщепенцев и изменников своего класса, было — разгромить ту группу, из которой они вышли. Трудовая же интеллигенция неизбежно оказалась самым ярым врагом своих отщепенцев и врагов демократии. Отсюда — сначала борьба между большевицкой властью и интеллигенцией, а затем — страшный разгром последней. Большевизм частью прямо истребил часть интеллигенции. Других уничтожил морально, обратив на служение себе, в «нэпманство» и т. д. Разгромом всех ступеней школы и особенно опустошением и искажением высшей школы он задержал приток новой интеллигенции. Трудовая интеллигенция потерпела от большевизма, быть может, не меньше, чем буржуазия. Если замечается ее — чисто экономическое — восстановление, то в нем она отстает от всех других классов. Но, конечно, эта социальная группа неистребима, и уже сейчас видны признаки ее предстоящего возрождения.

Резюмируя намеченные цифры и факты, приходится признать трудовую интеллигенцию одною из самых значительных социальных сил новой России. Количественно она быстро растет. По существу своему она — среди других социальных групп — между *капиталом и трудом* — представляет — по преимуществу — *талант*, соединенный с трудом. Исторически *трудовая* интеллигенция, сосредоточивая в себе интеллигенцию *культурную*, является центром духовного творчества России и продолжает славную миссию и традицию русской идеологической интеллигенции.

Социальная позиция ее ныне необыкновенно важна и сильна. От *окружения самодержавия*, с верхов дворянства, русская интеллигенция, в результате столетней бурной и драматической эволюции, *спустилась к народу* и срастается — чрез крестьянскую полуинтеллигенцию — с основной социальной силой России — *с крестьянством*. Таким образом, после претерпенных тяжких исканий, странствий, блужданий и катастроф, ей должно открыться плодотворное поле созидания и широкого социального творчества.

VII. ПОМЕЩИКИ.

Развязка крепостных отношений совершилась в России, конечно, в том же направлении, как и на Западе: она состояла в ликвидации феодальных владельцев. Но она пошла в этом направлении гораздо решительнее, гораздо стремительнее.

На Западе многовековой, глубоко укоренившийся и утонченно разветвившийся феодализм имел сравнительно незави-

симое существование и весьма значительную экономическую, политическую и культурную силу. Он врос там массой щупальцев глубоко в самое тело крестьянства. Поэтому там его ликвидация, как сословия, еще не разрушила его, как класс. Там — в Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии — класс землевладельцев сохранил значительную экономическую, культурную и политическую роль. И крупное землевладение успешно выстаивало (или, если уступало, то медленно) при режиме свободной конкуренции рядом с крестьянским хозяйством.

В России иной был «феодализм», и потому совсем иная была его ликвидация. Здесь дворянство было глубоко зависимо от мощного, подавляющего абсолютизма, здесь оно не имело времени укорениться, здесь оно было относительно слабым, и экономически, и культурно, — не говоря уже политически, — здесь оно держалось преимущественно государственной привилегией и от нее же внутренно слабело и распадалось еще в апогее крепостного права. И здесь поэтому падение *дворянского сословия* оказалось падением и *класса землевладельцев*.

Неизбежность такого конца обрисовалась совершенно ясно еще до освобождения в глубоком и быстро развивавшемся экономическом упадке дворянства. Так, уже в 1859 году, $^{2}/_{5}$ дворянских имений были заложены и на них лежало долгу более 400 миллионов рублей. Более того, даже и самые крепостные шли все бо́льшими массами в залог, так что перед освобождением $^{3}/_{4}$ их было заложено. Таким образом, уже при крепостном праве дворянство, живя «на всем готовом, не довольствовалось этим, проживало гораздо больше, чем имело и с чрезвычайной быстротой раззорялось. И в последнее десятилетие перед освобождением самое число крепостных стало — чрез вымирание и освобождение — быстро уменьшаться: с 12 миллионов мужских душ в 1836 году, до 10,7 миллионов душ в 1851 году. Еще до его уничтожения крепостное право как бы само умирало естественною смертью.

Понятно, что при свободной конкурренции, при «естественном социальном отборе», дворянство было обречено на гибель. И полувековая пореформенная история его и есть история его упадка, оскудения, раззорения, исчезновения с лица русской земли.

Хотя после освобождения оно получило кроме погашения прежнего долга более миллиарда рублей в виде оброчных и выкупных платежей бывших крепостных крестьян, хотя затем оно тоже еще до двух миллиардов перебрало в заем от частных лиц, а, главным образом, от продолжавшей его пестовать и баловать самодержавной власти, хотя его охранял целый ряд привеллегий — вроде учреждения земских начальников и т. п., — но все это не помогало ему удержать в своих руках землю. Началась

ее распродажа, и если в 1861 году в руках дворян было 95% ста миллионов частновладельческой земли, то уже в 1900 году, т. е. еще до каких-либо волнений крестьян, у них осталось всего 53% ее, а после первой революции — к 1917 году — не более $^2/_5$. Всего — в выкупе, в займах, в продаже — дворянство, надо думать, получило не менее 7—8 миллиардов рублей. Это был как бы аванс уплат за совершившуюся в 1918 году экспроприацию частновладельческих земель, как бы поспешная самоликвидация в предчувствии неизбежного конца.

Разгадку этого столь быстрого отмирания дворянства, как хозяйственной силы, надо, я думаю, видеть в происхождении и характере этой социальной группы. Западный феодал сам в борьбе добывал свою «фортуну», это был энергичный, сильный, жадный хищник, к хозяйственной мощи приходил он чрез суровый, жестокий социальный отбор. Иной был тип нашего дворянина: активнейшие элементы нашего зараждавшегося феодализма либо истреблялись, либо приручались самодержавием и им в лице дворянства создавался не активный хищник, а пассивный паразит, вдвойне обезволенный — и как раб самодержца, и как самодержец своих крепостных рабов.

Так сложенное, так поставленное, так воспитанное, наше дворянство не могло найти никакого своего собственного классового культурно-экономического существования. Сословные дворянские организации, хотя существовали, но не могли окрепнуть и не могли наполниться никакою самодеятельностью, ибо опять-таки были внешней формой, выкроенной абсолютизмом, а не выращенной самим дворянством. И в нем произошла замечательная, глубоко интересная в социально-психологическом отношении поляризация, раздвоение в две крайности. С одной стороны худшая его часть, — пассивная, ленивая или бездарная, деморализованная *рабством — барством*, — просто бездельничала, тунеядствовала, раззорялась и разлагалась во всех смыслах. Другая — лучшая его часть, — активная и даровитая, — находила и могла находить приложение своим силам лишь вне своего сословно-классового быта: в общих социальных, культурных и политических целестремлениях и служениях. Но и то, и другое вело роковым образом к ослаблению и банкротству дворянства, как собственнического и хозяйствующего класса.

И вот, в самом этом процессе своего хозяйственно-классового разложения и отмирания, дворянство внесло в творчество России замечательные культурные, социальные и политические ценности. По размерам своим эта социальная группа совсем мала: при освобождении крестьян помещиков было немного более ста тысяч, т. е. примерно около полу миллиона душ обоего пола, а по переписи 1897 гда всего дворян (т. е. и не землевладельцев) насчитано было немногим более миллиона,

т. е. меньше 1% населения России. Но сделано ею необыкновенно много.

Огромная доля замечательного творчества России в науке и искусстве внесена дворянами. От цвета дворянства ведет свое начало русская интеллигенция, и как группа культурная, и как группа идеологическая. Дворянами — при участии затем «разночинцев», «третьего элемента» — организовано замечательное еще нами мало осмысленное социально-культурное строительство, имя которому — земство. Наконец, дворяне же выставили множество виднейших политических деятелей, притом во все лагери, от целой плеяды выдающихся государственных людей, до длинного ряда героев революции из «кающихся дворян».

Вся история дворян представляет глубокую романтическую социальную драму, достойную художника-социолога вроде Герцена. В первой революции, — в контр-революции, в мировой войне и во второй революции разыгрался трагический ее финал. И он опять весь сплетен из трагической двойственности, из роковых контрастов.

После первой революции дворянство, испуганное и озлобленное натиском крестьянства на его землю, в первый и последний раз попробовало организоваться и явить себя, как злой и стойкий собственнический класс, связывающий свою судьбу с самодержавием, как раз раненным революцией на смерть. Но, конечно, попытка эта оказывается бездарной и бесплодной. В мировой войне дворянство, — вместе с разночинным студенчеством-офицерством — в последний раз пролило свою кровь за отечество. В гражданской войне культурно- идеалистический цвет дворянства погибал на стороне демократии в борьбе против большевицкой деспотии, а паразитарное дворянство покрыло эту его кровь грязью и, озлобив народ, дало победу большевикам. И среди нескольких десятков тысяч помещиков, доживавших в усадьбах — уже без земли или на трудовом наделе — опять явились в последний раз эти два лика: бессилия и распада у одних, жизни, активности и культурного подвига — у других.

После этого схематического очерка судьбы собственно дворянства остается еще короче дорисовать последующий вопрос: о преобразовании землевладельческого класса приливом к дворянству новых элементов. Этот последний вопрос состоит в том, не выростало ли на месте дворянства какого-то нового оживотворенного капиталом и более жизнеспособного землевладельческого класса?

Статистика земельной мобилизации (прослеженная мною подробно совместно с Е. Фортунатовой, до 1908 года, в коллективной работе «Борьба за землю», дает на это категорический

отрицательный ответ. Анализ районов покупок и продаж купцов и иных капиталистов, их цены, наконец, особенно их движение во времени показывают совершенно несомненно, что у этого класса продажи земли возрастали быстрее, чем покупки и, наконец, даже обогнали их, т. е. что, иначе говоря, их основная функция состояла в *перепродаже*. Наоборот, покупки трудовых крестьян — как единоличные, так особенно коллективные, росли неуклонно и все ускорялись, так, что, например, средняя годовая покупка общинами в период 1883—1897 года в четыре раза превышала среднюю годовую периода 1863—1882 г.г.

Таким образом, статистика выявила именно ту спекулятивную роль «чумазого» капитала, которая так бросалась в глаза и всем наблюдателям. Некультурный торговец, конечно, еще гораздо менее культурного дворянина мог организовать хозяйство и собственное производство. Он просто «расторговывал» землю: леса на сруб, усадьбы на дачи, землю в раздробь сначала в аренду, а потом в продажу крестьянам и т. д. И в результате уже в 1907 году у трудовых крестьян оказалось 30% частновладельческой земли против 40% у дворян и 20% у капиталистов. А к 1917 году уже не менее трети частновладельческой не трудовой земли перешло мирным эволюционным путем в трудовые крестьянские руки.

И это мирное завоевание земли крестьянами у помещиков было простой победой хозяйственности над бесхозяйственностью. Из остававшейся у помещиков земли всего на $^1/_3$ велось ими собственное хозяйство, около $^1/_4$ сдавалось в аренду и $^2/_5$ составляли леса. Благодаря такой слабости собственного хозяйства, в 1916 году оказалось, что помещики, владея еще целою третью культурной земли Европейской России, обладали всего 11% посева и всего 6% лошадей и крупного скота на этой площади. За исключением крупновладельческих свеклосахарных хозяйств на крайнем Западе Европейской России, помещичье хозяйство по своему строению оказывалось экстенсивнее крестьянского. Иначе говоря, крестьянство в культурно-экономическом состязании не только вообще отвоевывало у помещиков землю, но отвоевало посевы и высшие культуры и помещики отсиживались от этого наплыва крестьянского моря лишь в лесах.

Крупное землевладение уже само умирало пред революцией 1917 года, подобно тому, как крепостной строй умирал пред реформой 1861 года. При таких условиях совершившаяся вслед затем *земельная революция* оказалась действительно, как выразился некогда Н. К. Михайловский, «*консервативной*»: *она лишь завершила уже шедшую и все ускорявшуюся, общую социальную эволюцию сельской России.*

VIII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КРЕСТЬЯНСТВА.

Крестьянство занимает в социальном строе России совершенно исключительное место. Во-первых, *количественно:* трудовое население, живущее от разных видов сельского хозяйства, составляет $^4/_5$ населения России и, значит, являются основным телом этого строя, дает ему основную окраску. Во-вторых, *качественно:* наряду с русской интеллигенцией, крестьянство представляет наиболее своеобразную социальную группу России, так что эта вносимая им социальная окраска является характерной, «стильной», яркой.

К сожалению, как указано в предисловии, несмотря на массу материалов и на ряд ценных специальных работ *общая научная социальная* характеристика крестьянства до сих пор отсутствует. А в ходячем мнении она основана на априорных абстракциях, господствовавших лет семьдесят тому назад до этих научно-статистических и исторических исследований, и совершенно противоречит реальности. По этим ходячим взглядам, идущим от Маркса и Чернышевского, усвоенным большинством народников и доведенным до крайности и до догмы марксистами, представляется аксиомой, будто раньше крестьянство было совершенно однородной и примитивной, как экономически, так и социально-культурно группой, а в пореформенный период, под влиянием вторжения культуры, индустрии, обмена, капитала, стало быстро «расслаиваться», «дифференцироваться» на разные и даже антагонистические группы, даже на классы мелких капиталистов и пролетариев или полу пролетариев.

Историческое и статистическое изучение установило в последние десятилетия совершенно обратные выводы, которые можно формулировать так. Во-первых, крестьянство — вообще сельское трудовое население — России уже давно — во всяком случае уже несколько веков назад — было существенно разнородным и экономически и социально-культурно, причем (опять вопреки ходячему мнению) социально-культурные различия были не слабее, если даже не резче экономических. Во-вторых, различия эти с течением времени — особенно в пореформенную эпоху — никак не растут, а скорее уменьшаются, крестьянство и экономически, и социально, и культурно тяготеет к однородности, к «нивеллировке».

Резюмирую — самым кратчайшим образом — как сложилась догма о «расслоении» и как установлен факт растущей однородности крестьянства. Здесь остановимся лишь на проблеме экономической структуры крестьянства, ниже особо обратимся к его социально-культурной структуре.

Отправными точками наших изучений и обобщений о хо-

зяйственной структуре крестьянства можно наметить демографическую схему Чернышевского и экономическую схему, связанную с именем Маркса. Чернышевскому рисовалась картина расслоения в связи с неравномерными видоизменениями семей: одне растут, размножаются и, значит, беднеют, другие не растут или даже сокращаются и потому их имущество растет, хозяйство их крупнеет. По Марксу более крупные хозяйства целесообразнее мелких и потому существующие, сначала слабые, хозяйственные неравенства в крестьянстве должны фатально расти: крупные — крупнеть и становиться капиталистическими, мелкие — мельчать, слабеть и пролетаризироваться.

Демографическая схема Чернышевского, хотя и была ближе к действительности, влияния не получила, а утвердилась благодаря увлечению «экономическим фактором» еще и народников, наиболее абстрактная экономическая марксистская схема. При этом наша статистика применила ее крайне грубо и элементарно: все крестьянские дворы разбивались на группы по *абсолютной цифре* того или иного его хозяйственного признака, — например, по числу у него десятин земли, или посева, или скота и т. п., — и дворы с большой цифрой объявлялись богатыми и капиталистическими или капитализирующимися, со средней цифрой — средними, с низшим или нулевым обеспечением по данному признаку — бедными, пролетарскими или пролетаризирующимися. Затем эти группы объявлялись разными экономическими «слоями» крестьянства, а так как оно предполагалось когда-то раньше однородным, то уже самое наличие этих «слоев» казалось уже совершившимся и совершающимся процессом «расслоения» крестьянства, вследствие вторжения города и капитала.

Такое представление, сложившееся еще у народников и затем догматизированное марксистами, держалось в нашей статистике лет двадцать — в 80-е и 90-ые годы, — и только с начала 20 века была разоблачена его фиктивность, и статистика увидела, (хотя еще и не точно) реальные явления. Этот поворот от догматизма к реализму связан главным образом с работами Н. Н. Черненкова и с результатами повторных земско-статистических переписей. Существо дела состоит в следующем.

Прежде всего в реальности крестьянский двор не есть *только семья*, и не есть *только хозяйство*, а есть *хозяйствующая семья*, есть «*семья-хозяйство*» (как выражался Н. Н. Черненков). И потому социальную природу двора нельзя понять из одного его элемента, а можно определить лишь из совокупности, из комбинации, из синтеза этих элементов. Все формы и все трансформации каждого крестьянского двора, как и всего крестьянства в целом, определяются действием и взаимодействием демографических и экономических элементов.

Поэтому попытки уловить типы и видоизменения крестьян-

ских хозяйств по одним экономическим признакам без демографических дают пустые фикции. Они предполагают какие-то неопределенно длящиеся хозяйства без хозяйствующих, какие-то автоматы, между которыми совершается автоматический отбор: крупные крупнеют, мелкие мельчают. Между тем судьба хозяйств соединена с судьбой хозяйствующих даже в капиталистических предприятиях. И она уже всецело связана с судьбой семей при трудовом хозяйстве. Хозяйство складывается около семьи и ведется ею. Его успех или неуспех связан с рабочими силами и потребительным составом семьи, с физическими и духовными качествами ее членов и ее главы — здоровьем или болезнью, умом или тупостью, энергией или ленью, трудолюбием или пьянством и т. д. И само хозяйство возникает, прекращается, растет, или слабеет вместе с возникновением или разделом, или уходом на сторону, или вымиранием, или ростом, или старением, или упадком данной семьи. Поэтому одна и та же хозяйственная обеспеченность имеет совершенно различное значение у большой семьи и у малой, у старой и у молодой, и цифрами о хозяйстве совершенно нельзя уловить ни реальные типы дворов, ни их фазы, ни их соотношения, ни их эволюцию.

Но первый период нашей статистики не только вообще страдал «экономизмом», но впал в самую грубую и элементарную его форму. А именно, группировки дворов производились *по абсолютным, а не по относительным* числам хозяйственного обеспечения: не по количеству, например, десятин посева на душу в данном дворе, а по числу десятин посева на двор. Поэтому они вовсе не выражали реальной хозяйственной обеспеченности, — ибо ведь двор высшей группы, например, с десятью десятинами посева, если состоит из 20 душ и значит имеет пол десятины на душу, является вдвое менее обеспеченным, чем двор, имеющий пять десятин посева, но за то всего пять едоков, т. е. десятину на душу. И т. д.

В результате эти прежние группировки представляли все, что угодно, но не «слои» крестьянства. Так, в высшие группы по размерам посева попадали только отчасти действительно обеспеченные выше среднего, а главным образом просто крупные семьи, т. е. тут вместо капиталистических новообразований оказывался прямо противоположный тип: «патриархальные» большие семьи, — а таких, т. е., например, имеющих от 11 до 30 душ, насчитывалось по Петровскому уезду Саратовской губернии почти 8%. Наоборот, слабопосевные и беспосевные составлялись не только из бедных, или из ремесленников и т. п., а также просто из очень мелких семей. Значит, если это «слои» то скорее демографические, чем экономические.

Кроме того, поскольку тут имелась все-таки действительная разнообеспеченность, она объяснялась не столько тем, что

в данной деревне сложились, с одной стороны, богатеи, а с другой бедняки, сколько просто тем, что разные деревни получили весьма разные наделы. И вот государственные крестьяне села Спасского засчитываются статистиками в массе в «кулаки» и «мелкие капиталисты», а крестьяне малоземельной бывшей крепостной Дубровки играют роль пролетариев. Таким образом, тут за «слои» образовавшихся в пореформенный период капиталистов и пролетариев принимались исторические «слои» и напластования крестьянства, которые, (как ниже увидим) в пореформенную эпоху именно сглаживались, ассимилировались.

Само собой разумеется, что при такой фантастичности «слоев» было столь же фантастично и представление о «расслоении» крестьянства. Представление о том, что более крупные хозяйства должны обязательно расти и обращаться в мелкокапиталистическое крестьянство, а мелкие должны еще мельчать и превращаться в крестьянский пролетариат, вдвойне противоречит действительности. С одной стороны, так как эти хозяйства не суть какие-то автоматы, а суть живые крестьянские семьи, то они именно не могут двигаться без конца к крайностям, а должны вращаться вокруг некоторого среднего уровня. Семья не разростается до бесконечности, а на известном пределе делится, и вместо одного крупного хозяйства становится два или несколько средних или мелких. Равным образом и мельчание семей на известном уровне прекращается — или они объединяются, или совсем вымирают. С другой же стороны, поскольку все-таки в крестьянстве образуются мелко-капиталистические и пролетарские дворы, они привлекаются торговлей и индустрией, дающими бо́льшую прибыль и бо́льший заработок, и уходят из деревни, «отслаиваются» из крестьянства.

В общем итоге датирующее с работ Н. Н. Черненкова возвращение к *реальному крестьянскому двору, как он есть, т. е. как к «семье-хозяйству»*, установило, что в крестьянстве нет ни определенных и постоянных экономических слоев, ни их новообразования или развития, т. е. «расслоения». Крестьянство, конечно, не представляет массы однородных дворов, наоборот их существуют десятки разнообразнейших типов, но они составляют не антагонистичные *типы хозяйств*, а разнообразные *типы семей*, проходящих разные *фазы* своей жизни. В крестьянстве, конечно, нет и неподвижности, наоборот это — беспрерывно волнующееся море беспрерывно движущихся ячеек, но это движение не ведет к разным хозяйственным полюсам, к контрастам, к хозяйственному «расслоению», а составляет лишь «переслоение» семей-хозяйств — то растущих, то сокращающихся вокруг некоторого среднего уровня, с *«отслоением»* получающихся все-таки крайностей из деревни, из крестьянства, в город, в индустрию, в другие классы.

Происшедшие кое-где повторные земско-статистические

переписи уже установили — даже и на выше разъясненных весьма несовершенных цифрах и приемах — этот факт «переслоения» семей-хозяйств вокруг среднего уровня и отсутствие хозяйственного их расслоения.

Особенно показательны были те повторные переписи, когда последующая перепись определенно устанавливала, что именно сделалось с дворами, зарегистрированными предыдущей переписью и таким образом улавливались и суммировались *истории семей-хозяйств*, а значит и все те эволюции, которые они проделали в разных направлениях.

В виду чрезвычайного интереса таких эволюционных схем, привожу по Вяземскому уезду Смоленской губернии такую таблицу. Она указывает, какой процент разных посевных групп, зарегистрированных переписью 1884 года, в каких оказался группах при переписи 1900 года.

Группы хозяйств по размерам их землепользования в 1884 году:	Из числа хозяйств, отсутствовавших в 1884 г. вернулось к 1900 году.	В 1900 г. — какой % семей стали: Отсутствующими из числа тех, что были в 1884 г. в деревне.	Без посевов. I.	С посевом до 3 дес. II	С пос. от 3 до 9 дес. III.	С пос. свыше 9 дес IV.
I. Без посева	4,1	41,3	49,0	26,3	23,6	1,1
II. С посевом до 3 д.	0,9	7,5	10,7	39,7	48,3	1,3
III. С посев. от 3 до 9 дес.	0,5	7,5	4,1	19,6	68,7	7,6
IV. С пос. свыше 9 д.	0,5	7,9	3,2	10,6	65,3	20,9

Какие «переслоения» рисует за 15 лет эта таблица? Если примем для наглядности, что в Вяземском уезде было в 1884 году в наличности 10.000 крестьянских семей-хозяйств, то процессы «капитализации» и «пролетаризации» выразятся так.

«Полу-пролетариев» — беспосевных — было в 1884 году 1.430 и по программе пролетаризации деревни они бы все должны были и в 1900 году оказаться в наличности беспосевными, на самом же деле 572 из них — более $^2/_5$ — ушло из деревни, а из оставшихся 858 только половина (49%) остались беспосевными, половина же поднялась в посевные, — в середняки, а некоторые даже в высшие — в «кулаки». Значит через 15 всего лет из семей-хозяйств полупролетарских 70% так или иначе рассосалось — или поправилось, или отслоилось из деревни и лишь 30% остались. Еще через 5—10 лет рассосались конечно, так или иначе и они.

Точно также и «кулаки», — «мелкие капиталисты» — посевщики свыше девяти десятин, вместо того, чтобы, согласно марксистской программе, твердо сидеть в своих гнездах и расти вверх, мятутся — по условиям и целестремлением семей — во все стороны. Было их в 1884 году (на 10.000 семей) 454, но к 1900 году 36 из них (7,9%) ушли из деревни, а из остальных 418, т. е. две трети (65.3%) опустились в середняки, 10% даже в ниже-средний «слой», а 3% — 12 хозяйств — даже

в «полу-пролетарии», в беспосевные. И всего лишь 83 из них — 20,9% остались на своем посту «мелкого капиталиста».

Наконец, середняки, —нижесредние до трех десятин и выше средние от трех до девяти десятин, — коим надлежало спешить «расслаиваться» вверх и вниз, как раз меньше всего уходили на сторону и очень слабо выделялись в крайние группы. Они либо упорно держались на своем среднем уровне — выше средних удержалось на нем более ²/₃ (68,7%), либо лишь передвигались в соседнюю группу, причем уже совершенно противомарксистски: вышесредние, вместо того, чтобы подниматься к капиталистам, больше опускались в нижний слой середняков, а нижесредние вместо полагающейся им «пролетаризации» (всего 10,7%) целой половиной (48,3%) стали крепкими середняками.

Такую же картину, как приведенная таблица, рисуют, конечно, данныя и по другим местностям: *не «расслоение хозяйств», а «переслоение семей-хозяйств» сообразно с переживаемыми ими фазами их жизни.*

Такая же картина рисуется и вообще повторными переписями.

Как формулировал Н. Н. Черненков, изменение группировки хозяйств во времени может иметь четыре основных формы: 1) общая «подвижка вниз», т. е. возрастание процента мелких хозяйств с уменьшением процента крупных, 2) общая «подвижка вверх» — обратное движение, 3) «нивеллировка» — уменьшение процента групп мелких и крупных с повышением процента средних, 4) «дифференциация» — повышение процента крайних групп и уменьшение средних. При первых двух «переслоениях», структура, соотношение групп не изменяется, при третьем оно изменяется в сторону «сслоения», увеличения однородности, при четвертом — происходит «расслоение». И вот, повторенеи переписи показали, что из всех четырех процессов реже всего наблюдается именно последний.

Самые обширные и соизмеримые, охватывающие 38 губерний Европейской России данныя доставлялись военно-конскими переписями. Возможно было провести сравнение группировок крестьянских хозяйств по количеству лошадей на двор за два периода: от переписей 1888—1891 гг. к переписи 1899—1900 гг. и от этой второй переписи 1899—1900 г. — к переписи 1904—1906 гг. Привожу эти данныя в следующей таблице.

Как видим, в первый период при заметном уменьшении средней обеспеченности лошадьми на двор (на 17,1%), произошло возрастание низших групп и уменьшение высших, притом тем на больший процент, чем выше группа, т. е. «подвижка вниз». А во второй период при легком (на 0,9%) повышении обеспеченности произошла типичная «нивеллировка»: убывание крайних и возрастание «середняков».

Перемены при переписях	На сколько %% увеличилось (+) или уменьшилось (—) средняя обеспеченность лошадьми	На сколько %% увеличился (+) или уменьшился (—) % дворов в группах:						
		без лошадей	С 1 лош.	С 2 лош.	С 3 лош.	С 4 лош.	С 5 лош.	С 6 и более
I. От переписи 1888—1891 гг. к переписи 1899—1900гг.	—17,1	+17,9	+ 6,5	—13,2	—35,8	—35,5	—45,5	—46,2
II. От переписи 1899 г. к переписи 1904—6 г.	— 0,9	— 1,4	— 0,3	+ 3,0	+ 2,3	— 5,0	0,0	0,0

При порайонном рассмотрении оказались все те же процессы: при резких изменениях обеспеченности «подвижки» либо вниз, либо вверх, при слабых — «нивеллировки», «дифференциации» же не оказывалось.

После 1917—18 годов в экономическом положении крестьянства необходимо различать два периода. До 1922 года разоренное крестьянское хозяйство быстро падало, дойдя до катастрофы 1921 года, с миллионами умерших от голода. И в этот период наблюдалась нивеллировка: сокращение не только верхних, но замечательным образом и нижних групп (что можно объяснить, помимо уравнительного передела земель, более всего имущественным объединением или замедлением разделов в слабых семьях). С 1922 года крестьянское хозяйство стало восстанавливаться — быстрее, чем можно было ожидать, — и стала совершаться из года в год совершенно правильная общая «подвижка вверх», но пожалуй тоже с некоторой нивеллировкой, ибо верхние группы, хотя и росли, но оставались незначительными, нижние же резко и быстро сокращались, так что общий процент посевщиков от одной до шести десятин — нижесредних, средних и вышесредних, — повысился с 71,0% в 1922 году до 76,6% в 1925 году *).

Таким образом, не только в период земельных поравнений, но и в разгар страхов большевиков пред являющимся будто бы «кулаком» и надежд буржуазных групп на нарождение в крестьянстве «крепкого собственника», эта группа слабее, чем когда бы то ни было, а «середняк» разростается.

Итак, наша статистика за последние десятилетия установила, что крестьянство России не только, — как это наблюдается и на Западе, — является прочным экономическим классом и прочно держится при земле, но что — более того — в борьбе за

*) Резюме подсчетов Ц. С. У. за 1922, 1923, 1924 и 1925 гг.

землю оно быстро — в свободной конкуренции — отвоевывало землю у нетрудовых классов и что, вместе с тем, внутри себя не только не расслаивалось, но становилось все более хозяйственно однородным. Это окончательно устанавливается и определенно объясняется географическим и историческим изучением.

Как географическое изучение малонаселенных окраин, особенно Сибири, являющееся косвенно историческим изучением, — изображающее статистически хозяйственный быт, аналогичный прошлому, — так и прямое историческое изучение, становившееся все более статистическим, в последние десятилетия рассеяли легенду о былой односторонности крестьянства, установили, что наоборот, раньше оно было более неоднородно, чем теперь и объяснили, почему именно.

Когда земли было больше, чем ее могли обработать, когда первоначальная культивировка земли («расчистка» леса, «поднятие» целины и т. д.) была весьма трудной, тогда «сильный» хозяин мог легко развернуть свое хозяйство во всю свою большую трудовую норму, а начинающий «слабый» хозяин поневоле шел к нему в батраки прежде, чем стать на ноги. Вместе с тем, слабость городов и индустрии почти не давала капиталу иного выхода, как торгово-ростовщическое («кулаческое») использование деревни, а бедняку — «пролетарию» не давало пристанища и заработка вне деревни. И мы можем теперь на Сибири видеть совершенно ясно, как развиты эти «капиталистические» верхи и «пролетарские» низы именно в глухой «первобытной» деревне. Именно в этой — «примитивной» и «патриархальной» деревне крестьянство как раз не было однородной трудовой массой, а было пронизано довольно сильными феодально-капиталистическими прослойками (некоторые формы феодально-родового быта мы наблюдаем до сих пор особенно, например, у киргиз). И данныя писцовых книг, румянцевской переписи 18 века и т. п. рисуют те же, если не более резкие «слои», какие мы видим и сейчас. Таким образом и прямое историческое изучение устанавливает, что у нас не было чисто трудового крестьянства, а было крестьянство с окраской феодализации и капитализации.

С 19 века и с «модернизацией» России, изменяющиеся условия все быстрее стирают эту окраску и делают крестьянство все более «чистым», все более однородным. Заполнение земли людьми обрезает крайности в земледелии: сильному хозяину все труднее становится размах сверх трудовой нормы, слабому культивированная земля доступнее, чем «дикая», вся вообще обстановка земледелия, при размерах землевладения между трудовой и потребительной нормой, становится все благоприятнее для «середняка».

Параллельно с этим феодально-капиталистическая прослойка начинает слабеть и отмирать в новой русской деревне.

С уничтожением крепостного права, с развитием гражданственности, феодальные элементы вообще отмирали в России, отмирали они и внутри крестьянства. Капиталистический же элемент стал оттягиваться из деревни городом и индустрией. Капитал — и у нас, как и во всем мире — нашел там более выгодное приложение, чем в сельском хозяйстве. Поэтому «кулаку» стало выгоднее округлять свой капитал вне земледелия на ростовщичестве, на торговле, на индустрии, — и скоплявшиеся кулацкие капиталы потянулись из деревни в «центры». Крестьянин-бедняк нашел вне деревни новый заработок, малоземелье и тяжелые налоги выжимали «упалых» хозяев в город и индустрию, молодежь повлекли из деревни городские соблазны, земельный полу-пролетариат — как и мелкий капиталист, — нашел себе выход *не в «расслоении» деревни, а в «отслоении» в город.*

Таким образом, если эволюция индустрии шла в России более или менее по марксистской схеме, то эволюция сельского хозяйства пошла по схеме «народнической» (в ее критическом, не утопическом варианте): марксисты оказались правы для города, народники — для деревни *). Самым естественным и неизбежным образом, слабый капитал России, устремляясь к наибольшей прибыли, никак не мог проникнуть из города в деревню и вызвать в ней капиталистическое расслоение, а наоборот, стягивался из деревни в города и индустрию и тем самым высасывал из деревни и капиталистические, и пролетарские элементы. В русской деревне произошло и идет *не пролетарско-капиталистическое «расслоение», а пролетарско-капиталистическое «отслоение».* И именно, в результате этого «отслоения», — рядом с результатом хозяйственного отбора семей-хозяйств в самом земледелии — крестьянство становится все более «чистым», все более «однородным», все более «трудовым».

Этот процесс «окрестьянивания» крестьянства — вместо предполагавшегося процесса «раскрестьянивания» — получил в последние полвека чрезвычайную силу, глубину и прочность еще и потому, что стал сознательным организованным классовым действием крестьянства: в это время (как ниже излагается) выступили на авансцену в истории крестьянства земельная община и меновая кооперация. Община, окончательно осознанная и до конца развитая в этот период крестьянством, возвела в

*) Постепенно к признанию этого пришли и сами марксисты, по крайней мере более изучавшие вопрос. Так, С. Н. Прокопович (в своей книге «Крестьянское Хозяйство», 1924 г.), указывая на изменчивость крестьянских хозяйств, заключает, что «...Эта особенность русского крестьянского хозяйства является фатальной для выдвинутой марксистами в конце 90-х годов теории расслоения крестьянства на два класса, — сельский пролетариат и сельскую буржуазию».

норму и в право тот режим равномерного «середняцкого» — потребительно-трудового — хозяйства, который вырабатывается «естественным отбором», органическим «переслоением» семей-хозяйств. Кооперация, быстро охватывая как кредит, так и все главные формы обмена, начала подкапывать окончательно базу под кулаком, и как под торговцем, и как под ростовщиком и стала окончательно выталкивать его из деревни в город и в идустрию. Этим проводилась еще более глубокая межа между социальной структурой города и деревни в России: там — царство капиталистической индустрии, здесь царство трудового крестьянства.

К. Кочаровский.

(Окончание следует).

Скверный анекдот.

(О «Зарубежном Съезде»).

Широко задуманная попытка обмана европейского (и только ли европейского?) общественного мнения с треском провалилась.

Монархическая мышь горы не родила.

Но нельзя не отдать должного своеобразной смелости затеи — доказать миру: во-первых, что вся эмиграция монархическая, во-вторых, что вся она ждет от «вождя» сигнала «слушай в поход!», и в третьих, что такой эмиграции Европа должна помочь «спасти Россию».

Для осуществления идеи созыва «зарубежного съезда», долженствовавшего явиться доказательством этих целей, необходимо было сложение трех главных двигателей: маразматического упрямства П. Струве и окруживших его правопрофессорских (из бывших либералов) кругов, феноменальной, почти баснословной, политической глупости объединившихся в торгово-промышленный союз бывших российских Кит-Китычей и ничем несдерживаемого напора бывшего Союза Русского Народа.

История возникновения идеи «зарубежного съезда» длинна, темна и запутанна. Уже на самом съезде поднялся жесточайший спор между самовлюбленным П. Струве и креатурой Маркова II, И. Алексинским, о том, кому принадлежит эта идея или, вернее, чьими грамофонами были те, кто считают себя родоначальником этой идеи. Но так как нет ничего тайного, что не стало бы явным, в свое время выплывут наружу и тайны парижского съезда.

Отметим вкратце, что *устная* агитация на «местах» во время «выборной» кампании отличалась большим разнообразием доводов в пользу съезда.

Не малую роль в этой агитации играли уверения пропагандистов в том, что в созыве съезда весьма заинтересована «одна держава», что после того, как съезд провозгласит вождем Николая Николаевича и выберет «*зарубежное правительство*», на

«зарубежную Русь» посыпятся всякие блага и что станет возможной интервенция. Утверждалось даже, что для этой интервенции готовятся, под покровительством все той же «одной державы», «плацдармы» не то в Латвии, не то в Эстонии, не то в Литве, не то в Румынии.

Деньги на съезд, по словам пропагандистов, дала «одна держава», другие, впрочем, уверяли, что деньги «японские», два миллиона иен, якобы полученных Николаем Николаевичем от бывшего военного атташе в Японии. Третьи, наконец, говорили, что съезд оплатят торговопромышленники.

Конечно, пропаганда эта не всюду велась одинаково, а сообразно с настроением тех кругов, к которым обращались пропагандисты. В так называемой «приличной» профессорской среде наивных педантов уверяли в том, что на съезде произойдет фактическое усмирение крайних правых и будет создан орган, вовсе не преследующий целей интервенции, а ставящий своей задачей какое ни на есть но единое представительство *правомыслящей* «зарубежной Руси», почему-то являвшейся до «зарубежного съезда», в представлении весьма многих эмигрантских деятелей большинством, чуть ли не восьмидесятью пятью процентами, всей эмиграции.

В среде ярко-правых монархических деятелей и той части эмигрантского офицерства, для которой, кроме мечтаний об интеревенции, ничего не осталось, говорилось об интервенции, плацдармах, походах. Большинству же обещались блага, — могущие воспоследовать от органа — урегулирование беженского положения, заработки, паспорта, визы и проч. и проч.

Как видит читатель, аргументы самые разнообразные, но и мотивы созыва съезда тоже самые разнообразные.

Несомненно, однако, что на съезде среди руководителей боролись, главным образом, две точки зрения: одна, так называемая, «умеренная», — стремившаяся к созданию единой монархического типа партии с «вождем» и умеренно-монархическим «органом», которому подчинилась бы, якобы, большая часть эмиграции и в таком виде с готовым аппаратом могла бы ждать в хаосе современной европейской жизни той или иной возможности проявить свою действенную силу; — другая же точка зрения «неумеренная» заключалась в яростной борьбе за немедленное создание правой монархической партии по подобию и образу покойного «союза русского народа» с Марковым II, Крупенским и Треповым во главе, с немедленным созданием «правительства» a la Штюрмер и с выявлением во всей полноте взгляда на необходимость откровенной реставрации.

Верила ли эта крайне правая группа «союза русского народа» в возможность немедленной интервенции, за которую она с таким жаром распиналась на «местах», сказать трудно. Не-

сомненно лишь одно, что она считала момент чрезвычайно удобным для того, чтобы, дав бой на съезде «умеренным», захватить в свои руки Николая Николаевича, правительство и казну, начать действовать «по свойски» от лица всей эмиграции, открыто насаждая в ней реставраторские идеи и выжидая момента войны с Россией для того, чтобы в хвосте чужестранных войск нести реставрацию в Россию. Но, конечно, и для проженных руководителей этой группы интервенция и реставрация являлись делом не столь близким, а вот представительство и казна, бесчисленные канцелярии, учреждения и т. п. были приманкой весьма заманчивой.

Говорить о промежуточных группках и отдельных лицах, иногда комических, иногда искренних — не стоит. Внимания заслуживает только торгово-промышленный союз, примыкавший на съезде к «умеренным», и о нем мы скажем несколько слов ниже.

Выборы на съезд — и это надо подчеркнуть сейчас же — нанесли жестокий удар по создавшейся легенде о том, что 85% эмиграции мыслит и настроено монархически. Неизвестно, кто — чуть ли не сам Струве — эту легенду пустил в обращение и ей с большой поспешностью и легкомыслием многие поверили. Нам уже приходилось не раз указывать в «Воле России», что цифра эта взята с потолка и действительности совершенно не соответствует.

«Зарубежный съезд» явился замечательной иллюстрацией к этому нашему утверждению. Действительно, несмотря на подготовку, длившуюся свыше восьми месяцев, несмотря на огромные затраченные на нее средства — специально ради этой цели было создано «Возрождение», поместившееся на самом роскошном месте в Париже — на Больших Бульварах, — несмотря на очень деятельную агитацию в монархической прессе на «местах», несмотря на довольно деятельную пропаганду сочувствующих или введенных в заблуждение иностранных органов печати, результаты выборов на съезд оказались и для «умеренной» и для «неумеренной» черносотенных фракций «зарубежной Руси» плачевными.

При этом, ведь, надо указать, что затея зачастую пропагандировалась весьма неприглядными способами: эмиграцию в течение восьми месяцев старались обмануть, внушая ей, что съезд будет совсем не монархический, не политический, что он будет *надпартийный* и проч. и проч. Так называемая, «умеренная» группа, во главе со Струве предназначалась истинными руководителями съезда для того, чтобы придать съезду видимость чего-то серьезного, не черносотенного, ученого... Эмигрантский обыватель, казалось, мог легко попасть в эти более

или менее искусно сплетаемые сети. Ему могло показаться, что дело действительно вовсе не в реставрации, а в объединении «русского рассеяния», в создании такого «общеэмигрантского» органа, который, несмотря на свой правый оттенок, сможет сделать что-то положительное, — а уж и это было бы хорошо — в смысле облегчения тяжелой участи эмигранта. В иностранной прессе, в странах «рассеяния» эмигрантов, особенно, на Балканах, печатались подсовываемые организаторами съезда статьи о градущем съезде, как о «заграничном парламенте», о долженствующем родиться из него «правительстве», с которым «будут разговаривать иностранные правительства»... Само собою разумеется, проводя весь этот вздор в доверчивых органах печати, агитаторы им же и аргументировали — вот, мол, что пишет о съезде иностранная пресса.

И тем не менее, эмиграция, подавляющее ее большинство, в эту ловушку не попалась. Никакого, абсолютно никакого сочувствия большинство, и опять я повторяю — подавляющее большинство, эмиграции этой затее не выказало. *Вся* эмигрантская пресса (за исключением ограниченного числа чисто монархических изданий во главе с «Возрождением») повела кампанию против съезда. *Все* партийные группировки не монархического оттенка отнеслись отрицательно к этой затее.

На «местах» к ней отнеслись отрицательно и те, на кого больше всего рассчитывали устроители съезда, а именно бывшие войсковые части. Главною массою «вооруженных сил» являлось, как известно, казачество. И вот это казачество, — в лице даже своих когда то выбранных органов, возглавляемых такими весьма умеренными людьми, как господа Богаевский, Харламов и другие (до сих пор еще не расставшиеся с титулами, полученными ими несколько лет тому назад), — высказалось против участия в съезде. На самом же деле, казачья масса ушла далеко влево от линии поведения, проводившейся в жизнь гг. Богаевскими, и их выступление заслуживает быть отмеченным, лишь как выступление право и «умеренно» настроенных привиллегированных казачьих верхов, старающихся не отстать от массы.

О том, какими способами были проведены казаки «его высочества» на съезд, довольно красочно рассказал в Праге на специальном собрании, посвященном «зарубежному съезду», г. Харламов. Граф Граббе — лидер казачьей группы на съезде — был проведен парижским «Русским Очагом» — клубом-рестораном бывших русских аристократов, княгинь Нарышкиных и проч. и проч. Генерал от кавалерии П. Краснов прошел таким же образом. Какие то студенты-казаки проводились студенческими организациями в качестве студентов и только на съезде их провозгласили казаками и «казачьей фракцией»... Было несколько «выбранных» от Балкан, но об их выборах г. Харламов поведал весьма интересные вещи. Он прочитал письма ка-

заков из Болгарии, в которых они рассказывают ближайшему другу и соратнику г. Милюкова о том, что у них в Болгарии существуют подлинные *русские власти*, не только регистрирующие русских беженцев, но без позволения которых нельзя ни ездить по Болгарии, ни получать работу, ни просто жить! *Они же взимают подати с этих русских беженцев в казну Николая Николаевича...*

— Попробуйте в таких условиях не выбирать на съезд, говорил патетически Харламов, — ведь, то русское правительство, которое пытались создать в Париже, уже существует в Болгарии!

Интересно знать, появятся ли эти письма в «Последних Новостях», так яростно восставших против съезда и так неустанно восхвалявших в течение трех лет правительства Цанкова-Ляпчева?

В Белграде, по признанию самих же черносотенцев, из десяти тысяч русских всего лишь две тысячи приняло участие в «выборах». Это, кажется, единственный город, где «выборы» были устроены более или менее декоративно, с желанием показать, что «народ валом валит». Но даже в Белграде, в этом знаменитом сосредоточении черносотенной части эмиграции, где русским черносотенцам удалось в первые годы, по выражению одного из видных сербских деятелей,

«*обмануть сербов, воспользоваться нашим доверием и позорить своими действиями наше славянское и руссофильское имя*»,

в Белграде, где втершаяся вначале в доверие черносотенная головка сумела насадить повсюду своих агентов и весьма чувствительно давить на экономическое благосостояние беженской массы, где в ее руках имелись огромные суммы для кормежки своих приверженцев и всевозможные средства воздействия на непокорных, — даже в этом Белграде лишь незначительная сравнительно часть приняла участие в так называемых выборах. Великокняжеская затея не вызвала энтузиазма и здесь. Впрочем в Белграде среди самих выбиравших велась отчаяннейшая борьба, о которой мы скажем особо.

В других же местах «рассеяния» русской эмиграции «выбора» производились или в немногочисленных офицерских обществах, «Русских Очагах», черносотенных студенческих организациях, или в целом ряде организаций, состав которых приблизительно один и тот же, нечто вроде колоды карт, только иначе всякий раз перетасовываемой, или вовсе никаких «выборов» не было, а немногочисленные «умеренно» и «неумеренно» черносотенные полуфиктивные и фиктивные организации *назначали своих* «делегатов». Благо, на эту затею нашлись деньги...

Отметим вскользь, что только одна организация проявила

некоторую сдержанность и, кажется, не послала своих делегатов на съезд (а впрочем, может быть, мы ошибаемся?) — это организация или группа, или уж я не знаю, как ее назвать — «объединение *отечественных евреев*», во главе с г. Биккерманом, «Отечественные евреи!» — это звучит гордо, это — нечто вроде «Отечественной войны»... Приветствие «отечественных евреев», посланное съезду, на котором в таком количестве были представлены матерые погромщики, съезду, избравшему своим вождем незабываемого покровителя фронтовых погромщиков Николая Николаевича, — эта черточка, которую вряд ли могла бы предвидеть даже богато-пророческая фантазия Щедрина.

Конечно, эмиграция в целом была представлена съехавшимися на съезд «делегатами» в несколько большей пропорции, чем евреи, находящиеся заграницей, представлены «отечественными» или лучше сказать «собственными его высочества евреями». Но лишь в *несколько* большей. Пресловутые 85% монархически настроенных и монархически мыслящих исчезли, испарились без следа, а среди тех 15%, которых с большой натяжкой — да и то едва ли — пыжились представить собравшиеся в отеле «Мажестик», сколько было обманутых, непонявших истинного смысла съезда, принужденных насилиями и угрозами к согласию на то, чтобы обломки распутинского строя, все эти Треповы, Крупенские, все эти непочтенные деятели союза русского народа Валяй-Марковы и их подручные, перемешавшиеся в какой-то причудливой, монархическо-профессорско-торгашеской окрошке с гг. Скаржинскими..., Струве, Ильиными, Гукасовыми, Рябушинскими и Денисовыми могли заявлять от имени русской эмиграции и даже... русского народа все те глупости, которыми был наполнен в течение восьми дней лейборган съезда, «Возрождение».

Легенда о 85% монархической эмиграции рухнула и в этом единственная, быть может, действительно положительная заслуга съезда. Недостававший подсчет монархических сил был произведен самими монархистами. И вряд ли теперь, кто серьезно осмелится утверждать, что русская эмиграция поголовно монархическая.

Я говорил уже выше, что борьба на съезде велась по преимуществу между представителями «умеренного» и «неумеренного» течений. Но до съезда борьба велась, главным образом, между не то бонапартистским, не то фашистско-монархическим течением, представляемым в эмиграции тем, что принято называть «врангелевцами», большая часть которых скопилась на Балканах. Все более или менее «молодое», с оружием в руках действовавшее в гражданской войне и до сих пор неразочаровавшееся в своем крымском «вожде» или связанное с

ним всевозможными нитями, относилось с известным недоброжелательством к мысли о простом восстановлении романовской династии и возведении снова на министерские, губернаторские и генеральские места тех самых деятелей царского режима, которых эта «молодежь» видела, по сочному выражению одного из балканских делегатов, «*в обозе второго разряда*» во время ледяного похода генерала Корнилова. Понятно, что непосредственное окружение генерала Врангеля, Кутепова и прочих не вытанцовавшихся кондотьеров и диктаторов, старалось изо всех сил это настроение подогревать и поддерживать. Чем, ведь, чорт не шутит?

— Во всяком случае, чуть ли не перед самым отъездом на съезд делегатов, — рассказывал со смехом моему знакомому один из генералов, — особа *весьма близкая* к Врангелю, придя на собрание высокопоставленных деятелей врангелиады, посвященное обсуждению вопроса о «зарубежном съезде», с неудовольствием говорила, что она не понимает, почему столько разговоров о Николае Николаевиче и династии Романовых, когда, ведь, можно и выбирать, когда есть столько людей, заслуживших перед родиной.

Вот эта бутада особы как нельзя более характерна для чисто врангелевских настроений.

Дорого яичко к красному дню! Один из самых приближенных к Врангелю журналистов, из ушибленных революцией профессоров, не то самый «старый корнет», не то прапорщик, г. Давац, накануне созыва съезда выпустил в Белграде книжку под названием «Годы. — Очерки пятилетней борьбы». Борьбы, само собой разумеется, заграницей и борьбы, — пусть это не покажется читателю странным, — главным образом, *против монархистов*... Не боясь сделать рекламы г. Давацу, я настойчиво советую каждому, интересующемуся белым движением заграницей, прочитать эту весьма поучительную книжку, где г. Давац в совершенстве нарисовал отвратительную картину пауков в банке, поедающих друг друга из-за вопроса — кому быть царем и главнокомандующим.

Черпая материалы, по собственному заявлению, из *архива* барона Врангеля, верный глашатай барона, г. Давац, рассказывает об ожесточенной борьбе, которая велась между врангелевцами, объединенными монархистами, народно монархическим союзом и высшим монархическим советом во главе с Марковым II.

Дело в том, что Врангель, «будучи сам монархистом», ни за что не хотел признать официально будущего восстановления династии и монархии, оставляя для себя возможность и дальше руководить «белым движением», тогда как и монархический высший совет и народно-монархический союз и всяческие иные монархические организации уже с 1920 года стремились поло-

жить конец так называемым «белой идеологии» и белому движению» и делали все возможное, чтобы это движение с рельс бонапартистско-фашистских перевести на рельсы откровенно монархические. Борясь против Врангеля, всевозможные монархисты, а в их числе и пресловутый Скаржинский, уже тогда объявили ему «войну», причем демонстративно называли его в своих циркулярах... *бароном!* Врангелю, по свидетельству Даваца ставились в вину даже такие слова, как *прогресс* и свобода, которые он считал нужным упомянуть в своей благодарственной за признание телеграмме из Крыма Мильерану.

«К чему были приплетены эти никому ненужные и давно опостылевшие слова — писали по утверждению Даватца монархисты о телеграмме Врангеля — совершенно непонятно».

Словом всякое лыко в строку ставилось...

Боровшиеся против «прогресса» и... *барона* Врангеля монархисты, сокрушается г. Давац, называли бедного барона *Серебровым,* не намекая даже, а просто указывая на распродажу увезенного бароном серебра из так прогремевшей петербургской Ссудной Кассы. Покойный А. Столыпин, по свидетельству Даваца, открыто атаковал в своей газете по этому поводу незадачливого барона. К слову сказать, оправдывая Врангеля в истории с серебром, г. Давац фактически подтверждает с цифрами в руках возмутительную историю этой продажи.

В конце концов, барон проиграл. Как не уверял он в своих речах и писаниях, что его баронское сердце так же монархично, как и сердца Маркова, Скаржинского и прочих трубадуров монархии, и что лишь одна забота об «единстве армии» не позволяет ему теперь же высказаться в пользу того или иного образа правления, карта его была бита. Верх взяли монархисты; бонапартистско-фашистское движение в лице беглого «генерала» гражданской войны не вытанцовалось и на съезд попало в меньшинстве. Идея «Вождя» в персоне Николая Николаевича для врангелевцев являлась некоторым образом идеей компромиссной — ведь, Николай Николаевич стар, провозглашает себя пока что только «вождем», что будет дальше — неизвестно, тогда как Кирил «молод», пережить его трудно. Словом, врангелевцы ухватились за «вождя», не рассчитав того, что «вождь» целиком аннексирован высшим монархическим советом и что в конечном счете, признав «вождя», придется признать и Маркова II, то есть как раз тот самый высший монархический совет, который, по авторитетному свидетельству Даваца, спал и видел прекращение белого движения и замену его монархическим. Давац рассказывает — все тайное становится явным, — как уже на Карловацком церковном соборе происходили чуть ли не драки из за различных кандидатов на престол.

Необходимо тут же упомянуть, что на съезде врангелевцы были по всей видимости совершенно затерты. О Врангеле

вспомнили из приличия в самом конце съезда, решили ему послать приветственную телеграмму и немедленно же обесцветили это решение такими же приветственными телеграммами не только Деникину, Миллеру, Кутепову и Юденичу, не только... Хорвату и Диттерихсу, но и присутствовавшему на съезде сопернику Врангеля — Краснову. Врангеля расжаловали, поставили в один ряд с остальными... Врангелевская группа не имела никакого значения, а левые фашисты — типа Бурцева, кстати сказать, не попавшего на съезд, — и вообще молчали, точно воды в рот набрав.

Sic transit...

На самом съезде, как мы уже говорили выше, бой шел между «умеренными», которых вел вперед П. Струве, и «неумеренными» под водительством Маркова, Трепова, Крупенского. Собственно, шел не бой, а было позорное бегство «струвеистов» перед марковцами.

Профессора на этом съезде, как и до него, предназначались для весьма незавидной роли. Это они должны были быть главным козырем в некрасивой игре, одной из главных целей которой являлся обман общественного европейского мнения относительно задач съезда, и характера якобы всей русской эмиграции, и даже, не только руссской эмиграции, но и всего русского народа.

Правда, самому Струве и глубокомысленным профессорам — некоторые из них, прожив столько времени в демократическом чехословацком государстве и якобы внимательно приглядываясь к политической жизни этой страны, не научились ничему — казалось, что на них возложена (неизвестно кем), историческая миссия укротить «неумеренных», превратить Маркова II из всем известного погромщика и черносотенца в конституционно-монархическую паиньку. Говоря словами народной пословицы, они стремились «черного кобеля отмыть до бела». Задача и мало почтенная, и неосуществимая, и выставившая «струвеистов» в сугубо смешном свете, haut comique, как пишется на французских фильмах. Что касается гг. Треповых, Крупенских и Марковых — те смотрели на дело проще. Им надо было, чтобы на истинно русский сапог союза русского народа был наведен европейский лак. Кто лучше «академика» мог это сделать? В самом деле, какая пышная для Маркова II, Крупенского и Трепова компания: тут и академик Струве, и всеблагой профессор Карташев, и юродствующий проф. Ильин, и Рябушинский, и «отечественные евреи» и «собственный его высочества» писатель Иван Бунин, приславший так же, как и «собственный его высочества» художник Малявин, поздравительные съезду приветствия и т. д. и т. д. Во истину сапог союза

русского народа никогда не чистится такой блестящей и знатной компанией! Но сколько лаку не наводи, природы сапога не изменишь. И все благородные усилия почтенной профессорско-писательской компании завуалировать истинную физиономию «зарубежного съезда» остались втуне.

А фигуры среди руководящей части «высокого собрания» были сугубо красочные. Что уж там говорить о руководящей тройке: Маркове II, Трепове и Крупенском, о графе Бобринском, о князе Оболенском, о Гурко-Лидвале, о герцоге Лейхтенбергском, ген. Краснове и о целом ряде других князей, графов, баронов и генералов, так трагически отметивших себя в истории России, в обществе которых, в конце концов, показалось жутким пребывать даже Гурко-Лидвалю, даже Масленникову! Не менее интересные фигуры выделились и среди «зарубежников» фигуры новых деятелей «зарубежной России», выросшие, можно сказать, в полном смысле слова на деньгах и крови несчастных рядовых белого движения.

Как раз перед самым съездом — опять таки дорого яичко к красному дню — один из видных деятелей монархического движения, член президиума главного совета (объединенных) монархических партий России, действительный статский советник Раф. Еленев, опубликовал в Белграде «Открытое письмо именующемуся правительственным Главноуполномоченным по устройству русских беженцев в Сербии Сергею Николаевичу Палеологу и тем, кого оно должно касаться». В этом письме объединенный монархист, Еленев, рассказывает об одном из самых видных деятелей монархического движения на Балканах, вошедшем в президиум «зарубежного съезда», из ряда вон выходящие вещи *).

Вот, кому чистили сапоги господа профессора и писатели, нашедшие моральное удовлетворение в работе «по спасению России» с черносотенцами всех видов и оттенков. Что значила их жалкая «оппозиция» на съезде в последнюю минуту, когда из всей при их участии задуманной и осуществленной затеи получился для них же самих скверный, очень скверный анекдот.

---

*) Описывая, как некий авантюрист вывозил заграницу во время «эвакуации» золотой и серебряный запас одесской конторы Государственного Банка — «кажется, замечает Еленев, большая часть вывезенных сумм была в Константинополе отобрана у него кем то «из союзников», — автор сообщает, что с этим авантюристом эвакуировался и называемый en toutes lettres в «Открытом Письме» деятель, помогавший охранять вывозимое золото. Получил ли этот деятель что либо от авантюриста (фамилия коего приводится тоже) г. Еленев «положительно» не знает. Но почти одновременно по прибытии в Константинополь

«этот деятель открывает на Принкипо, якобы на занятые у двух еврейских капиталистов деньги, — публичный притон людского разврата и низменных страстей под названием «Le Cercle Internationale» — «Интернациональный вертеп». Дело сразу пошло блестяще. Азарт, разгул, пьян-

Не менее комичной была на съезде и роль торгово-промышленников. Наши российские Кит-Китычи, возглавляемые Гукасовыми, Третьяковыми, Рябушинскими и Денисовыми, дали на этом съезде яркую иллюстрацию того положения, что торгово-промышленный класс (на положительной роли которого в России строили свои рассчеты не только одни правые, но который в свое время представлялся и социалдемократам вплоть до Ленина руководящим элементом грядущего буржуазного республиканизма) на самом деле не имеет никаких крепких корней в русской жизни. Весь европейский глянец, приобретенный сынками недавнего «чумазого», слетел с них бесследно. Выброшенные из России, они некоторое время выбирали, на какую карту им ставить. Увы, никакой иной карты, кроме реставрационной, для них не нашлось. В самом деле, с кем они могли итти? Бонапартистско-врангелевское движение не вытанцовалось. Республикано-демократическое объединение бывших кадетов и беглецов из различных партий не представляет собой никакой силы даже заграницей. В России же о них и не знают. Массы российские враждебны капитализму. И ничего другого не осталось для торговопромышленников, как прежнее старое, верное, хотелось бы им верить, прибежище — реакция, реставрация рухнувшего строя, выведшего уже раз «чумазого» в люди. Да, этим торгово-промышленникам вновь оказалась нужна только старая власть с ее субсидиями, высокими таможенными ставками, с бешеными казенными заказами, благоволившая к фантастическим по «размаху» подрядчикам, утеснявшая в их пользу рабочего, отдававшая мужика на съедение «чумазому».

Уже после революции 1905 года господа торгово-промышленники раскрыли свое лицо и разрушили упования наивных теоретиков, веривших в их положительную, созидательную роль. Уже тогда они сдружились с Держимордой.

И теперь эти загонщики иностранного капитала не нашли ничего лучшего, как поставить свою ставку на такую негодную, на такую навсегда, окончательно битую карту, как карту реставрации. Правда, и им — ведь, все таки сынки «чума-

---

ство и прочие страсти, направляемые талантливой рукой доставляли ему обильный доход. Публичное заведение мистера Скаржинского стало пользоваться среди общественных подонков все большей и большей популярностью, но вместе с тем все худшей и худшей известностью у местных властей».

В конце концов, по свидетельству Еленева, власти одной из союзных держав отдали приказ, чтобы никто из войск этой державы не смел посещать «публичного притона». На другой день и другие державы присоединились к отданному приказанию, а затем в «трущобу» деятеля явился союзный отряд, но Скаржинский сбежал, вынырнул в Югославии и сам стал звездой первой величины на монархическом небосклоне. Так говорит монархист об очень видном деятеле зарубежного съезда.

зого» и в университетах побывали, и Европу повидали, и перед Европой было бы приличней — хотелось как-то пригладить вихры союза русского народа, как-то вместе со Струве «отмыть черного кобеля», удержать его до поры, до времени от слишком конвульсивных движений. Но это не удалось.

Хорошо хоть, что они не оказались Мининым-Сухоруками и сами, все-таки не доверяя карте, на которую поставили, настояли на том, чтобы из всеподданнейшей декларации Николаю Николаевичу было выброшено упоминание о том, что они готовы предоставить свое имущество в его распоряжение. Нужно ли говорить, что с этого момента торгово-промышленный союз на девять десятых потерял свою притягательную силу для Маркова, Трепова и Крупенского? И на съезде современные Колупаевы и Разуваевы были безжалостно подмяты вместе с «либералами» под Держиморд.

Любопытно было наблюдать во время съезда и после съезда поведение бывших кадетов, как из «Последних Новостей», так и из «Руля». Больше всего эти бесформенные обломки бывшей кадетской партии были возмущены поведением их недавних товарищей по белому движению, вроде господ Струве, и, особенно, поведением торгово-промышленников, ушедших к правым. Не трагедия ли это: русский либерализм, мнивший себя политическим выразителем просвещенного капитала, — и такой вдруг конфуз...

Кадетская наседка вывела в годы революции и гражданской войны неприглядных утят. Во время прений на докладе Юренева в Праге о зарубежном съезде г. Астров, «тот самый, который»..., Астров, бывший душой кадетской партии на Юге России (Милюков, черезчур уж открыто перебросившийся к немцам, стал неприемлем для деникинщины, предвидевшей конечное торжество и с немцами только обменивавшейся некоторыми дружескими услугами), этот Астров с дрожью в голосе и прижимая руку то ко лбу, то к груди, выражал свое недоумение по поводу того, что молодежь,

«которая проникнута скорее всего фашистским настроением, пошла с Николаем Николаевичем, со старым, с отживающим... Что между ними общего?».

— Что-ж, когда других вождей не было? — крикнул из задних рядов кто-то из «молодежи».

А один из присутствовавших в полголоса сказал:

— Что-ж, когда у кадетов кишка тонка оказалась...

Да, партии «государственного переворота», как себя с гордостью именовала она, партии, выносившей позорные резолюции на Юге России, партии, сформулировавшей теорию белой диктатуры и несколько раз предававшей демократию, — этой партии, прикрывшей и вскормившей весь ужас деникин-

щины, колчаковщины и врангелевщины, сейчас не легко и не приятно наблюдать за своими недавними соратниками, а часто и питомцами. «Кишка тонка оказалась», — какое меткое слово! И хотелось воспитать настоящую, белую диктатуру, от пафоса которой еще и до сих пор не могут очнуться «Последние Новости», но силенок не хватило. Куда уж там, даже Врангеля заклевали недавние спутники кадетов. Тот же Юренев с горечью рассказывал, как уже в Константинополе, когда он еще честно сотрудничал с Врангелем *), приходилось бороться против... Комиссарова. И сила уже тогда была на стороне собирательного Комиссарова.

— Ведь, вы подумайте — с трагическим придыханием говорил Юренев, — ведь, если бы Комиссаров во время не ушел к большевикам, могло бы оказаться, что и он был бы выбран в президиум съезда.

Могло оказаться... Обязательно оказалось бы! И разве в составе съезда, как уверяет Еленев, и даже в составе его президиума не было лиц, недалеко ушедших от Комиссарова? и разве девять десятых этого съезда не шло раньше вместе с теми же кадетами под общим знаменем белого движения и диктатуры — не только против большевиков, но и *против русского народа, против русской демократии*, на Юге, в Сибири, у Юденича и т. д., и т. д.? Только тогда кадеты сидели в правительствах, а потом их вышвырнули Комиссаровы и другие более «правые» соперники. Чего уж тут выводить в поздний свет демократические рулады? В России все равно не поверят, а заграницей новой партии не навербовать.

Надо брать вещи, как они есть. Нечего выдумывать каких-то либералов, суррогат которых теперь наново и наскоро фабрикуется обломками бывшей кадетской партии, нечего выискивать «прогрессивных» торгово-промышленников (об исключениях мы не говорим) — их в русской действительности нет. Одни, раскаявшись, — в который уже раз? — оказались пустым местом, — «кишка тонка»; другие, как и надлежит исторически создавшемуся типу российского «чумазого», попали в объятия к Держиморде. И если из этих объятий они постараются теперь выбраться, то только потому, что, стукнувшись лбом в Маркова II, увидели (увидели ли?), что и за Держимордой нет никаких сил и что раскошеливаться на содержание черносотенной оравы заграницей дело весьма длительное, разорительное и себя не оправдывающее. Гонор тут ни причем. И не такое претерпели бы, если бы были надежды на успех. Впрочем, может быть, и прозрения-то никакого еще не про-

*) Г. Давадтц цитирует текст декларации, подписанной Юреневым и поднесенной Врангелю в Константинополе, в которой заявлялось, что подписавшие «*видят в Вас* (в Врангеле!!..), *как и прежде, главу Русского Правительства и преемственного носителя законной власти*»...

изошло, и феноменальная политическая глупость этой почтенной корпорации, может быть, заставит ее и дальше способствовать устроению подобных оказательств «зарубежной Руси».

Нужно ли говорить об «идеологии» съезда? Увы, у собравшихся общей идеологии не было. Была не идеология, а «психология» и некий зачаток платформы.

Да и то, только в нескольких, правда, немаловажных для съезда, пунктах психология собравшихся была более или менее едина. Из них следует отметить стремление к диктатуре, к диктатору, хотя бы и вытащенному из нафталина, но все же «общему», являющемуся некиим, пусть даже рассыпающимся, цементом для объединения всех враждующих, но одинаково взыскующих по диктатуре элементов. Провозглашение Николая Николаевича «вождем» вызвало «энтузиазм» собравшейся в подвалах «Мажестика» публики по разным мотивам.

Во-первых, потому, что провозглашенный «вождь» «царского корня». Для монархистов, таким образом, представлялась бы возможность в случае успеха переименовать «диктатора» в «императора», не производя коренной ломки «диктатуры», окружения и т. п.

Для приверженцев просто диктатуры (на всякий случай — «если в России восстановление монархии действительно не популярно») *) Николай Николаевич тоже представлялся удобным, ибо его избрание в «вожди» может рассматриваться и как уступка, утишающая временно монархистов, и как отпор в то же время легитимистам, и как преграда высшему монар-

*) В той же любопытной книжке «Годы» г. Даватц издевательски издевается над пропагандою монархистов заграницей. Рассказывая, как монархисты старались убедить эмиграцию в том, что восстановлению монархии будут помогать и французы и немцы, он говорит: и германофилы и антантофилы, «приходили к выводу, что восстановление монархии в России для Европы выгодно. Но, кроме того, сотни газетных корреспонденций и десятки свидетельских показаний от очевидцев доказывали, что народ русский пресытился советской властью, мечтает о «хозяине» и Царе, с умилением рассказывали, что «все крестьянство бережно хранит царские портреты — и ждет только призыва, чтобы обрушиться на коммунистическую власть. А так как «красная армия» — плоть от плоти крестьянства, то предполагалось очевидным, что при имени «царя» произойдет какой то психологический сдвиг.

«Пока настроения эти упорно поддерживались и подогревались в эмигрантской толще, руководители движения принимали меры к конкретизации этих настроений: низы долго ждать не могли. Высший монархический совет желал найти выход из создавшегося положения через возглавление монархического движения великим князем Николаем Николаевичем».

Г. Даватц, поиздевавшись вдоволь над пропагандой и мечтаниями «организованных монархистов», с удовлетворением, явно искусственным, констатирует, что положение «организованного монархизма» тяжелое, ибо Николай Николаевич возглавить это движение якобы не пожелал. А, следовательно, для фашистско-бонапартистского движения, возглавляемого дорогим сердцу Давадца Врангелем, якобы остается лазейка.

хическому совету, неуклонно стремившемуся немедленно же превратить просто «диктатуру» в диктатуру «императора».

Таким образом, «вождь» являлся для двух главных течений безнадежных утопистов замазкой, долженствующей скреплять долженствующее возводиться общее здание диктатуры, при чем каждая из сторон может надеяться, овладев положением и «вождем», на полное торжество своей, именно, точки зрения.

Во-вторых, «вождь» стар и не блещет умственными способностями. Возраст оставляет много надежд кандидатам в диктаторы не «царского корня». Слабость же его умственного аппарата окрыляет «неумеренных» или, как их иронически называют врангелевцы, «организованных монархистов», уже и теперь являющихся главными режиссерами разыгрываемого вокруг «вождя» фарса.

Короче сказать, провозглашенный «вождь» дает возможность этим друго-врагам в самом процессе возведения общего здания основательно подсиживать друг друга, а вместе с тем и устраняет «легитимного» Кирилла, которому фашисто-бонапартисты не могут простить того, что он уже император и притом «молод», следовательно, серьезно заграждает путь к диктатуре кандидатам не «царского корня», а высший монархический совет не может забыть «революционных выступлений» «императора» в 1917 году.

В третьих, избрание *престарелого* человека и в то же время бывшего *главнокомандующего* откладывает на некоторое время тягостный для приверженцев кандидатов не «царского корня» момент выборов диктатора, — ведь, кандидатов несколько и все друг друга ненавидят.

Кроме провозглашения вождя, заслуживает быть отмеченной некоторая попытка обоснования интервенции.

Съезд открылся, если не маршем хора трубачей, то во всяком случае трелью генерала от кавалерии Краснова, закончившейся напоминанием о том блаженном моменте, когда по велению вождя труба протрубит: «Слушай, в поход!».

Ожидание этого желаннейшего момента является вторым общим всем присутствовавшим на съезде «зарубежникам» положением. Руководители съезда не мало потрудились на протяжении шести лет беженства над всесторонним обоснованием интервенции — единственного их серьезного упования. И не случайность, что протрубивший — в будущем времени и на воображаемой трубе — походный сигнал генерал Краснов, был избран, несмотря на свою общеизвестную легкость в мыслях и действиях, в члены порожденного съездом «органа». «Армия» и «казачество» долженствующие в арьергарде иностранных войск ввести в Россию «вождя» (наподобие того, как в 1918 г. Милюков предлагал Алексееву ввести в Москву, под прикрытием немец-

ких войск, «царя» Михаила II!) занимали на съезде умы «зарубежников». И если для командования несуществующей «армией» кандидатов хоть отбавляй, то для предводительства несуществующими «казачьими войсковыми частями» необходим был командир. Таковым и явился недавний союзник Вильгельма II и бывший атаман Всевеликого Войска Донского, неунывающий генерал Краснов.

Главное обоснование интервенции было сделано Ольденбургом. Он долго и пространно рассказывал о всех случаях интервенций иностранных войск в дела того или иного государства и, очевидно, в целях беспристрастия указывал, что в одних случаях интервенция была не патриотична, в других же ее очень одобрял. Особенный восторг в нем вызвала английская интервенция в Испании, на престол которой был посажен Наполеоном брат его Иосиф. Испанский народ, восторгался Ольденбург, «приветствует, как избавителей, английские войска, вступающие на испанскую территорию. Испанцы видят в них друзей и союзников, а не завоевателей». Другой случай, много говорящий сердцу Ольденбурга, это правление немецкого генерала Биссинга в оккупированных немцами бельгийских провинциях, — которого бельгийский народ тоже не считал своим правителем... Основываясь на этих примерах, Ольденбург проводил аналогию с тем, что происходит в России, уверяя своих слушателей в том, что в России в настоящий момент тоже правит исключительно «внешняя сила», нечто вроде генерала Биссинга или Иосифа Бонапарта. Правда, Ольденбург поостерегся привесть более яркие аналогии и отвечающие его теме примеры, а именно правление немецкого генерала Эйхгорна на Юге России, когда при помощи и на деньги немцев друзья докладчика (вроде того же самого генерала Краснова и герцога Лейхтенбергского и весьма многих генералов, графов, князей и баронов, слушавших его доклад), не справляясь с чувствами русского народа, готовили армию не только против большевиков, но и против волжской антибольшевицкой Народной Армии, против чехословаков и против союзников.

«Внешняя сила» — это, конечно, «власть, на монопольных началах принадлежащая интернациональной политической секте». Так проводилось обоснование интервенции.

На кого же рассчитывали опереться съехавшиеся в Париж эти чудовищные выходцы с того света, глубокомысленные профессора и оскандалившиеся генералы? Ю. Семеновым, правой рукой злосчастного Струве, была сделана попытка анализа социальной структуры нынешней России. Увы, никаких классов и социальных групп, соответственных тем группам бывших помещиков, бюрократов и торговопромышленников, которые вот уже шестой год собираются заграницей в «поход», Семенов не нашел. Борьба ведется против большевиков, — констатиро-

вал он,—крестьянством. Но так как и ему, очевидно, было совершенно ясно, что Николай Николаевичи, Крупенские, Оболенские (князь Оболенский так и говорил на съезде «мои крестьяне») ничего иного кроме приема вилами от деревни ждать не могут, он попробовал выделить из общей крестьянской массы ...класс кулаков!

«В то же время, заявил Семенов, в крестьянской среде, благодаря возможности частной торговли, стал образовываться класс сравнительно зажиточных крестьян, названных большевиками именем «кулаков».

Итак, труба трубит, командующие есть, внутренняя опора в лице «кулаков» найдена, остаются «плацдармы».

Тут, памятуя опыт похода Юденича на Петроград, во время которого бравый полководец, не внимая настойчивым убеждениям «одной державы», преждевременно поссорился с Эстонией, собрание единодушно приняло доклад князя Урусова и признало независимость Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Армении и Грузии, забыв почему-то только Азербейджан? (не потому ли что на Баку претендуют финансовые хозяева съезда Гукасовы и Лианозовы?). Словом, «Великая, Единая. и Неделимая» была торжественно погребена ее рыцарями и знаменосцами 9-го апреля 1926 года в подвалах отеля «Мажестик». Каких только жертв не принесешь в поисках «плацдарма!»

«Плацдармы» найдены и оставалось лишь подготовить и успокоить обитателей России. Очевидно, господа, поровшие и вешавшие на Юге России, в Сибири, на границах Польши и Эстонии крамольных крестьян, расстреливавшие тысячами сдававшихся красноармейцев, поняли, наконец, всю силу ненависти «благодарного населения». И полились медовые речи: не месть, а любовь; не разъединение, а примирение; не возврат собственникам, а закрепощение «награбленного» за недавними «грабителями». Живущие в России, провозглашались солью земли, о себе же Марковы, Треповы, Лейхтенбергские и даже Струве говорили в тоне смиренном, чуть ли не в уничижительном.

Все шло в этом направлении довольно гладко, пока, наконец, душа Маркова II не выдержала и он не пригрозил «правой стенкой, у которой конец одинаковый» меньшинству... съезда! Идиллия прервалась и любвеобильно настроенное собрание едва не открыло в «Мажестике» жестокого междоусобия.

Фарс закончился принятием манифеста «зарубежного съезда» к русскому народу. В нем «зарубежный съезд» провозгласил Николая Николаевича избранным и признанным «Вами и нами!..» Затем были выработаны приветственная телеграмма вдовствующей Марии Федоровне, обращение к народам Европы и, кажется, к алжирскому бею...

Обвиняя друг друга в советских методах, в учреждении чеки, грозя друг другу «стенкой», «зарубежники» двумя третей голосов постановили образовать монархическое «зарубежное правительство», (само собою разумеется, из «неумеренных»). Но, когда выяснилось, что «умеренные» готовы пойти на «разрыв», что торговопромышленники решили закрыть наглухо кошельки, а Николай Николаевич пошел на попятный, убоявшись, быть может, черезчур уж явной скандальности всего происшедшего — ведь все-таки Европа смотрит! — высокое собрание ограничилось выбором финансово-ликвидационного «органа» из «неумеренных».

Этот орган, ликвидировав долги по съезду, и будет, очевидно, седлать коней и подготовлять «поход».

Побежденным же «струвеистам» из национального комитета и врангелевским фашисто-бонапартистам остается одно: — восстание против «организованных монархистов» и анексия, если возможно, торговопромышленного союза. Поживем — увидим.

Весь этот скверный анекдот, происшедший с русскими черносотенцами, «либеральными» профессорами и торговопромышленниками на девятый год после величайшей из Революций, явление в некотором роде положительное.

Во-первых, он показал всю неосновательность большевицко-монархических утверждений о поголовном монархизме эмиграции.

Во-вторых, он выявил перед заинтересованными иностранцами полное разложение всех эмигрантских интервенционистских группок, так долго вводивших в заблуждение часто иностранного общественного мнения*).

В третьих, он, надо надеяться, окончательно раскрыл глаза части эмиграции, теми или иными нитями еще связанной с руководителями съезда и ими вводимой в заблуждение.

Комическая сторона парижского действа жестоко ударила по его режиссерам. Но не надо забывать и того, что эти режиссеры мешали и теперь еще мешают жить многим русским людям. Достаточно вспомнить совершенно невероятное безобразие, проделанное Врангелем над так называемой «русской армии».

В указанной уже мною книге, Даватц очень ярко описывает, как Врангелю чуть чуть не удалось закабалить в апреле 1921 года правительству... Хорти «части русской армии» численностью в «36.000 солдат и 12,000 офицеров»... Вот была бы

*) Комично, что руководители съезда до сих пор уверяют иностранную печать в том, что съезд не был монархическим.

опора венгерским фальшивомонетчикам! Все складывалось отлично: военный представитель барона, полковник фон-Лампе, «после длительной трехмесячной подготовки» обратился к венгерскому правительству, венгры с радостью согласились — еще бы! — и запросили разрешения у союзников, часть союзных агентов обещалась хранить в этом вопросе «нейтралитет», предоставив все дело на решение венгров, но.., но вмешалась Конференция Дипломатических Представителей Союзных Держав. «Министр Обороны г. Беличка, поветствует Даватц, видимо сам с нетерпением ожидавший ответа» Конференции, «подтвердил о полной готовности Венгрии принять часть Армии». Однако, Конференция Представителей Держав высказалась против. Ее постановление, подписанное верховным комиссаром Италии, князем Кастаньето, до сих пор приводит Даватца в ярость и он мечет против Италии гром и молнии...

Даватц вскользь упоминает об еще одной не менее характерной попытке определить «армию» на службу к чужестранной власти. В Болгарии того времени (среди болгарских противников Стамболийского, нуждавшихся в силах для свержения Стамболийского), оказывается зародилась идея заменить болгарских солдат... врангелевцами — «в некоторых болгарских кругах мелькала даже мысль — составить из чинов Армии добровольческие кадры— единственный вид военной организации, разрешенный в Болгарии Нейльским договором». Эта идея при Стамболийском, само собою разумеется, осуществлена быть не могла, но по свержении народного болгарского трибуна болгарские черносотенцы, милые сердцу вождей наших «республикано-демократов», отчасти осуществили ее — и в какой страшной форме! при Цанкове. Даватц с документами (все из Архива Врангеля!) в руках наивно-цинично рассказывает, как врангелевские кадры в сентябре 1923 г. принимали участие в беспощадной борьбе против болгарских крестьян (конечно, переименованных им для некоторого «самооправдания» в коммунистов). Он указывает войсковые части (некоторые из них и доселе гноятся благодарным болгарским правительством в рудниках Перника), называет места, приводит даты, цитирует поздравительные телеграммы Врангеля войскам и даже публикует фотографии благодарственных по случаю «победы» над болгарскими «мятежниками» молебствий перед фронтом «русских частей» и «триумфальное» вступление этих «войск» в «завоеванные» болгарские города!

Сколько раз правительство Цанкова «опровергало» эти факты... Как позорно восхвалявшие Цанкова русские эмигрантские органы печати замалчивали их... Как бесстыдно отрицал эти преступления представитель Врангеля, генерал Миллер, на своем докладе конференции Национального Комитета в 1924 г... И вот теперь, через три года, alter ego — глашатай и знаменосец

Врангеля — восстанавливает перед нашими глазами подлинную картину жуткого неизгладимого позора и подтверждает *точными* данными все ранее опровергавшиеся факты.

Наследием разбойнических, наемнических действий врангелевского командования и остались в Болгарии, те «русские власти», которые мешают жить в этой стране русскому беженцу.

Когда нибудь вскроются переговоры, ведшиеся в свое время «командованием» и с... испанцами, все на тот же предмет — поставки пушечного мяса, вывезенной из России мобилизованной массы.

Такова далеко некомическая сторона деятельности руководителей съезда, которой должен быть во что бы то ни стало положен конец.

Русской эмиграции, в подавляющем большинстве своем относящейся отрицательно к бесноватым из Мажестик — отеля, надо возможно шире ознакомить иностранцев с происшедшим в Париже «действом», возможно резче от него отгородиться и возможно полнее объяснить его значение.

Необходимо напречь все усилия, чтобы вырвать из рук авантюристов последние «кадры» бывших военнослужащих.

Действия этих господ больно бьют по эмиграции. Их позорные деяния придают в глазах Европы всей эмиграции авантюристический и черносотенный характер. И это обстоятельство очень тяжело отражается на большинстве русских эмигрантов, особенно на тех из них, которым приходится искать заработков и жить трудами от рук своих. Они на деле сталкиваются с предубеждением европейского общественного мнения. Профессиональные рабочие организации, прогрессивные политические партии и правящие круги ряда стран с глубочайшим недоверием относятся к русской эмиграции.

Причина подобного отношения вполне понятна. Ведь чего стоят в глазах европейского общественного мнения, и, особенно, в глазах рабочего мнения, хотя бы те же болгарский и китайский опыты!

В русской эмиграции большинство европейцев видит или беглых князей, графов, бюрократов, помещиков и богачей, швыряющихся деньгами, или черносотенную массу, «кадры» авантюристов, слоняющихся по свету и готовых к вмешательству вооруженной рукой во внутренние дела какой угодно страны.

Пропаганда же, ведущаяся в иностранной прессе и обществе «*от лица всей эмиграции*» русскими черносотенцами и их «либерально»-торговым окружением, только укрепляет в представлении иностранцев неверное представление о русских эмигрантах и предрасполагает к сугубой подозрительности. Доклад ген. Миллера вызвал в свое время не малое волнение во французских профессиональных организациях и в правительственных кругах. В нем поветствовалось о посылаемых во Францию

«воинских эшелонах», об «армейских частях», и тому подобных дико звучащих для французского уха вещах. Попробуйте-ка объяснить французу план «расквартирования »во Франции каких-то «врангелевских войск».

А какое впечатление произведут сведения о деятельности врангелевских кадров, сообщаемые Даватцем...

Нет, эмиграция, ищущая работы, желающая жить по человечески на чужбине, должна, наконец, понять, что в ее же собственных интересах отгородиться как можно резче от всех Николай Николаевичей, Врангелей, Красновых, Гукасовых, Рябушинских, Струве, имена и дела которых так неразрывно связаны с позорной, скандальной историей зарубежного авантюризма и кондотьерства.

Эта эмиграция должна понять, что ее путь — путь самодеятельности, путь совершенно отличный от пути господ, неустанно трубящих: «слушай, в поход» и с жиру бесящихся в Парижах, Ниццах и Берлинах.

В продолжении шести уже лет незначительная сравнительно кучка пытается изображать всех русских беженцев статистами какой-то нелепой Вампуки и неизвестно почему отождествляет с собой эмигрантскую массу, чем бесконечно ей вредит, чем жестоко порочит и ее и русского народа доброе имя.

Хорошая сторона «зарубежного съезда» заключается именно в том, что эта кучка, разоблачившись перед целой Европой, показала себя, наконец, во всей своей непосредственности. «Покровители» могли вдостоль налюбоваться ее курбетами и оценить по достоинству весь ее незначительный удельный вес.

Ничего более глупого, ничего более компрометирующего, чем то, что произошло в Париже, руководители съезда, придумать не могли. Струве может гордиться — это *реккорд* глупости.

Вл. Лебедев.

Иностранная жизнь.

Политические партии и политическая жизнь в Латвии*).

Если переживаемая нами историческая полоса может быть названа полосой поступательного роста и развития демократии в общественной и политической жизни, то ряд молодых республик, создавшихся на окраинах прежней России, является довольно ярким подтверждением этого. Во всяком случае, мы, жители этих республик, в особенности мы, социалисты, с большим удовлетворением и сознанием правоты своих исторических воззрений ссылаемся на существующий у нас демократический и республиканский строй, как на большое достижение и воплощение наших програмных требований в течение десятков лет прежней революционной борьбы.

Это, конечно, не значит, что мы находим настоящее положение идеальным. Конечно, нет. И демократические республики наших дней борятся с целым рядом затруднений, как политического, так, в особенности, экономического свойства. Но эти затруднения не коренятся в демократическом строе молодых республик, они являются в значительной мере общими для всей Европы послевоенного времени. Что же касается Латвии, то, в частности, мы должны иметь в виду еще те громадные разрушения, которые были на ее территории произведены в течение всех лет мировой войны, а затем местных войн с немцами и большевиками. В этом отношении даже как то трудно сравнивать, например, Латвию хотя бы с Финляндией, сохранившей почти неприкосновенными свои материальные и прочие ценности. Даже Эстония, и та находилась более в стороне от непосредственных путей военных действий, почему и больше уцелела.

---

*) Автор статьи видный член латвийской социал-демократии и член латвийского Сейма.

В мою задачу не входит сравнительная оценка условий жизни на теперешней территории Латвии до и после войны, хотя и в этом отношении можно было бы привести целый ряд интересных данных. Достаточно указания на полное уничтожение всей крупной промышленности, на эвакуацию почти всех фабрик в Россию, из которой почти ничего обратно не получено, как то произошло и с массой других ценностей, вывезенных или уничтоженных. Если все это представить в цифрах, получилась бы достаточно потрясающая картина произведенных разрушений.

Но для некоторой иллюстрации сравним хотя бы количество жителей на территории Латвии до и после войны. По данным Статистического Ежегодника России за 1914 г., в пределах теперешней Латвии считалось 2,552,000 жителей, в 1920 же году было только 1,596,131 чел., то-есть убыток равен почти целому миллиону. В 1925 году насчитывалось уже 1,844,805, то-есть выразился прирост в 248,674 душ. Это часть беженцев, возвратившихся на родину после войны и заключения мира.

Значит, при громадных материальных разрушениях, при убытке населения на 40% измученная страна **завоевала** независимость. Я подчеркиваю это слово **завоевала,** ибо это была подлинная, отчаянная война и она наложили известный отпечаток на все дальнейшее развитие страны, так как подняла национальное самосознание на большую высоту. Ход мыслей был таков: если во время мировой войны латышские стрелковые полки умели пойти на большие жертвы и покрыть себя славой; если потом большевицкой власти удалось увести за собой часть оставшихся стрелков и использовать их, как стойкую боевую силу почти на всех своих фронтах гражданской войны, где многие из них нашли вечное упокоение; если жалким остаткам прежних и незначительным боевым единицам вновь созданных почти голых и мало вооруженных войск в течение полугода удалось освободить страну от регулярных немецких (в том числе «железная дивизия») и советских войск, **воюя на два фронта,** — если все это так, то, очевидно, народ и впредь сумеет за себя постоять, значит, бояться ему нечего.

Вот почему с такой уверенностью молодая латвийская государственность с первых дней своего существования вступила на путь внутренней самоорганизации. Вот почему с такой последовательностью и, можно сказать, прямолинейностью первым делом было приступлено к спешному проведению аграрной реформы. Прежние помещики, немецкие бароны, являлись не только социально, но и национально враждебным элементом. Многие сотни лет они являлись чужими угнетателями местного населения, во время войны, особен-

но в 1918 и 1919 годах, они открыто с оружием в руках пошли на Латвийскую республику. Поэтому ликвидировать, с корнем вырвать основы помещичьего господства считалось равносильным национальному освобождению. Поэтому и помещичья земля и та незначительная часть, которая принадлежала владельцам-латышам, была **безвозмездно** отчуждена и зачислена в государственный фонд. В настоящее время можно сказать, что, за исключением очень небольших остатков, весь этот земельный фонд уже распределен среди безземельных крестьян, причем участникам освободительной войны были предоставлены известные преимущества. Около семидесяти пяти—восьмидесяти тысяч новых крестьян-собственников, при среднем размере хозяйства в 22 гектара, осело на прежней помещичьей земле. Многие из этих крестьян уже обстроились необходимыми постройками, так как государство пошло им навстречу, как в смысле отпуска по значительно удешевленным ценам и притом в кредит строительного материала, так и выдавая долгосрочные ссуды из государственного казначейства.

Надо при этом отметить, что до сих пор Латвия не пользовалась ни единой копейкой иностранного займа, а в то же время регулярно уплачивает и в скором времени надеется окончательно ликвидировать многие из тех «долгов» освободительной войны, которыми наградили ее великие державы — победительницы в виде ненужного снаряжения и о котором одно время в Латвии думали, как о подарке.

Конечно, при таких условиях хозяйственное развитие страны не могло пойти столь быстрым темпом вперед, как это было бы при других, более нормальных условиях. Тем не менее всякий объективный наблюдатель должен будет признать, что при тех ужасных условиях, в которых страна находилась во время освобождения, сделаны громадные шаги вперед по пути хозяйственного возрождения. Посевная площадь и урожай последнего года уже почти достигли довоенной нормы, а в отношении живого сельско-хозяйственного инвентаря надо зарегистрировать даже увеличение по сравнению с прошлыми временами.

Из только что приведенных кратких общих указаний читатель сам уже сделает вывод, что раз окончательно уничтожено помещичье землевладение и сами помещики на поле брани были разбиты, то, очевидно, помещиков, как экономической и политической силы, в Латвии нет. Есть немецкое меньшинство, так или иначе идейно настроенное в пользу возврата прежнего положения, но из 5 немецких депутатов Сейма (при общем числе депутатов — 100) только один, барон Фиркс, является, так сказать, чистокровным предста-

вителем прежнего помещичества, остальные же представляют городское мещанство.

Точно также из сказанного явствует, что при уничтоженной крупной промышленности нет и не может быть сильной крупной буржуазии, ни хозяйственно, ни политически. Ее место заняла мелкая и средняя буржуазия. И далее следует вывод, что раз народилось новое крестьянство, около 80,000 хозяйств, а вместе с менее крупными наделами так называемым ремесленным хозяйством — всего около 100,000 хозяйств, то-есть около 300,000 душ населения, то, очевидно, эта новая среда может вызвать и новые политические образования. Так оно на самом деле и есть.

* *
*

Какова же политическая жизнь Латвии при этих новых условиях? Под влиянием каких внутренне-политических сил она сложилась за последние годы?

Было бы ошибочно думать, что тот последовательно демократический строй, который создался в Латвии, является только как бы отражением революционных бурь последних лет во всей Европе и в особенности в соседней России. Ведь эти же революционные бури во многих местах вызвали совершенно противоположное действие, вызвали реакцию, фашизм. Особенно в местах, где сильны были большевицкие тенденции. А Латвия, хоть и не как страна, но в лице значительной части латышей отдала ведь порядочную дань большевизму. Если при этих условиях политическое развитие страны не приняло явно реакционного характера, то помимо уже указанных объективных условий (нет помещиков, слаба крупная буржуазия), значительная роль в этом отношении принадлежит **латвийской социалдемократии.** Ее идейно политическое влияние было велико и оставалось таковым в течение более двадцати лет.

Латвийская социалдемократия, как определенная партия, со своей программой сложилась в 1904 году, когда состоялся ее первый съезд. Отдельные социал-демократические группы существовали много раньше, в 90 годах прошлого столетия. В своей первой программе партия, между прочим, писáла: «При образовании демократической республики России должно быть предоставлено право самоопределения всем народностям, живущим в пределах России.»

Это «право самоопределения», конечно, в то время конкретно не мыслилось, как «самоопределение вплоть до отделения»; этот вопрос вообще в то время как-то не ставился, да и рассуждения о политической и культурной автономии

носили более теоретический характер. Партия считала своей первейшей задачей свержение самодержавия в России, и в этом направлении она готова была сделать все от нее зависящее, вплоть до объединения с Рос. Соц.-Дем. Партией в 1906 г., когда при условиях революционного движения это объединение стало существенно необходимым. Никогда латвийская социал-демократия не проявляла националистических тенденций, — это знают все, кому приходилось иметь дело с ней в прежние годы. Наши партийные работники никогда никем в этом не упрекались. Но они также никогда (и при объединении с Р. С.-Д. Р. П.) не забывали своих специфических обязанностей по отношению к латышскому пролетариату и освободительному движению в Латвии вообще.

И в тот момент, когда царское самодержавие было окончательно ликвидировано, но в то же время в России не оказалось демократической республики, латвийская социал-демократия считала совершенно естественным и последовательным развитие этого права на самоопределение в право на отделение, на национальную и государственную самостоятельность.

Как я уже выше говорил, это право фактически было взято с бою и оно согласовалось с тем направлением политического развития, какое было предусмотрено соц.-дем. программой, то-есть: полное равноправие всех граждан, Учредительное Собрание, демократическая республика, в то время, как немецкая железная дивизия и бермонтовские банды сулили нам новое рабство, а советские полчища — кровавую диктатуру.

Освободительная война 1918 и 1919 г.г. явилась как бы продолжением освободительной борьбы славного 1905 г., когда широкие массы населения впервые были вовлечены в открытую борьбу под идейно-политическим руководством социал-демократии. Ее престиж и теперь был высок, несмотря на то, что значительную часть своих прежних деятелей ей пришлось пожертвовать «ленинским традициям».

Итак, социал-демократия вошла в молодую латвийскую республику, как уже известная и заслуженная политическая величина, с определенными, ясно выраженными политическими намерениями и традициями. И если выработка республиканской конституции была проведена в последовательно демократическом духе и аграрная реформа проведена без всякого компромисса с прежними владельцами, **без выкупа и обременения новых хозяев**, то это все было сделано под исключительно сильным влиянием социал-демократии.

Несмотря на то, что при разрушенной промышленности, при разбросанной во время войны эвакуации и беженстве прежней пролетарской массы, чисто рабочий элемент Латвии

был доведен до минимума, что социал-демократическая партия потеряла многих своих прежних деятелей, и значит, как партия, была слабее, чем в лучшие времена нелегального существования, — все же на первых всеобщих выборах (в Учредительное Собрание в 1920 г.) за социал-демократию было подано 37,5% всех поданых голосов. Таким образом, с первого дня существования правильно организованной парламентской жизни в стране партия заняла **первое место** по числу депутатов.

Вторые всеобщие выборы (в первый Сейм) в 1922 году произошли уже при расколовшейся партии: на правое крыло (меньшевики) и левое соц.-дем. крыло, но и тогда количество поданых голосов за обе партии равнялось 37,1% (левое крыло — 30,6%, а правое — 6,3%, остальное — еврейский «Бунд»), то-есть получилось уменьшение только на 0,4%. Последние же выборы (во второй Сейм) в 1925 году дали уменьшение соц.-дем. голосов, но за счет правого крыла (меньшевиков), которое вместо 6,3% получило теперь только 3,6%, в то время, как левое крыло получило прирост с 30,6% на 31,3%, что дало вместе с «Бундом» всего 35,5%, таким образом уменьшение социалистических голосов по сравнению с предыдущими выборами произошло всего лишь на 1,6%.

В общем и целом все же надо признать, что указанные процентные колебания являются настолько незначительными, что серьезной угрозы для социал-демократической партии они до сих пор не представляли.

Но более интересными могут показаться данныя, указывающие на сравнительный успех социал-демократии у городских и сельских избирателей. Тут действительно заметен процесс, который не может быть безразличным для социал-демократии. Если в общей сложности она все время держалась на почти одном и том же уровне, то в отношении городских и сельских избирателей, отдельно взятых, картина получается другая. С каждыми новыми выборами число поданых за социал-демократию голосов сильно возрастает в городах, но падает в сельских местностях. На это указывают следующие данныя:

	Города.		Сельск. местности.	
Учр. Собр. 1920 г. . . .	63,767	или 23,2%.	211,110	гол. или 76,8%.
I Сейм в 1922 г. . . .	88,215	» 36,4%.	153,732	» » 63,6%.
II Сейм в 1925 г. . . .	138,630	» 52,3%.	126,250	» » 47,7%.

Совершенно очевидно, что центр тяжести социал-демократии из деревни постепенно переносится в города. В некотором отношении это понятно и неизбежно, так как параллельно с тем, как заканчивается земельная реформа, главным двигателем которой являлась социал-демократия, интерес

крестьянина-собственника к социалистической партии падает. Но раз верно, что на интересы мелкого крестьянина социал-демократия никогда не только не покушалась, а наоборот в латвийских условиях как раз помогла ему стать на ноги, раз в других странах социалистические партии ставят целью привлечение под свое влияние этих крестьян, то для латвийской социал-демократии совершенно конкретно стал вопрос о способах, если не обратного завоевания, то во всяком случае вопрос удержания оставшихся ей верными, все еще довольно значительных слоев новых крестьян.

Наблюдения последней выборной кампании показали, что некоторая потеря социал-демократией голосов в деревнях идет также за счет чисто батрацких элементов, которые стали равнодушнее к партии потому, что законодательным путем ей не удалось провести ни одного закона социального характера, защищающего интересы сельских рабочих, в то время, как городские рабочие получили довольно радикальный закон о 8-ми часовом рабочем времени и не менее благоприятный закон страхования на случай болезни. А количество сельских рабочих, несмотря на проведенную аграрную реформу, все еще сравнительно велико, ибо достигает цифры свыше 150,000 человек. Но объективные условия законодательной работы в этом направлении до сих пор не были достаточно благоприятными, да и пролетарский элемент деревни наименее организован и активен. Но и в этом отношении социал-демократической партии предстоит более планомерная и упорная работа, чем до сих пор.

Все признаки говорят за то, что правое крыло соц.-дем. (меньшевики) идет навстречу ликвидации. Существовавшие раньше разногласия с ходом развития политической жизни страны потеряли свою почву. Да и теперь уже можно сказать, что в социалистическом движении Латвии фактически имеется только одна социалистическая партия.

Что касается коммунистов, они существуют нелегально. На последних выборах в Сейм они под беспартийной фирмой участвовали только в одном избирательном округе (Латгалии), и потерпели полное поражение. Как раньше, так и теперь они не имеют ни одного депутата в парламенте. За последние годы их влияние среди рабочих вообще сильно пало.

Из 100 депутатов нынешнего Сейма социал-демократическая фракция имеет 33 (из них один от «Бунда»), меньшевики 4 деп., так что социалистическое крыло имеет всего 37 деп. Социал-демократия по численности оставляет далеко позади себя каждую из буржуазных фракций, отдельно взятую. Так, наиболее крупная буржуазная фракция, крестьянский союз, имеет только 16 депутатов. Отсюда ясно, что и политическая роль социалистической фракции очень заметна. Зна-

чительная часть основных законов, как то об обществах, политических партиях и союзах, о печати, о собраниях и другие носят отпечаток социалистического творчества. Почти весь личный состав фракции первого Сейма за исключением одного лишь члена, вернулся во второй Сейм, что дает большое преимущество в парламентской работе, в особенности в работе комиссий.

В вопросе правительственном, партия и фракция Сейма совершенно определенно стали на точку зрения участия в правительстве, то ли самостоятельно, то ли в коалиции с буржуазно-демократическими группами. Бывали и случаи поддержки левого буржуазного правительства без непосредственного в нем участия социал-демократии. Но, и находясь в оппозиции, фракция проявляла большую активность, в некоторых случаях с успехом применяя парламентскую обструкцию, а иногда проводя целые кампании в массах, с сотнями собраний.

* *
*

Из буржуазных партий наиболее крупная — это Крестьянский Союз. Так как в связи с проведением аграрной реформы помещичье землевладение было совершенно уничтожено и лишь некоторое число имений оставлено в руках правительства для организации образцовых хозяйств и других культурных целей, то крупного землевладения в прежнем смысле (в несколько тысяч гектаров) в Латвии нет. Но есть так называемые старые крестьяне, которые свое хозяйство приобрели в собственность в 70-х годах прошлого столетия и многие из которых успели стать зажиточными и на европейский лад культурными. Конечно, война и этой группе населения принесла значительное раззорение, но сейчас она уже заметно оправилась. Эти «старохозяева» по занимаемой ими площади земли в сравнении с хозяйственным масштабом некоторых других стран могут считаться уже небольшими помещиками, ибо хозяйство в 100 и более гектаров является довольно частым.

Нужно, между прочим, отметить, что и норма в 22 гектара (надел «новохозяевам» по закону об аграрной реформе) не является очень уж мелкой, так что вообще даже после уничтожения помещичьего землевладения нельзя говорить о чрезмерном земельном раздроблении.

Но суть в том, что в Латвии сейчас имеются две категории крестьян — ново и старо-хозяева. Первые являются наследниками недавней революции, от нее получили землю и их судьба тесно связана с теперешним государственным стро-

ем. Вот почему в своей подавляющей массе эти хозяева до сих пор шли за социал-демократией. Опасение возврата прежних помещиков до известного времени поддерживает в них революционные настроения. Совершенно другое мы видим у старохозяев. В свое время и они (в 1905 г.) были бунтарями, так как стремились освободиться от помещичьей опеки и добивались больших прав. По получении всего этого они стали консервативными. **В этом много помогли им коммунисты во время своего нашествия со своими нелепыми национализациями и коммунальными хозяйствами, о которых крестьяне не могут говорить без злобы.** Некоторую враждебность старые хозяева проявили также к безвозмездному отчуждению помещичьей земли и наделению ею прежних батраков и безземельных. Это также провело как будто известную грань между старо и ново-крестьянами, и грань эта до сих пор не сгладилась, хотя Крестьянский Союз, как партия этих старых, зажиточных хозяев, в последнее время прилагает все усилия к тому, чтобы эту грань уничтожить и завербовать в свои ряды новые кадры избирателей. До сих пор это стремление заметным успехом не увенчалось, так как справа и слева у крестьянского союза явились конкуренты, и в процентном отношении с каждыми выборами он даже несколько терял. Так, на выборах в Учредительное Собрание он собрал 17,1% поданых голосов, в первый Сейм — 16,8%, а во второй Сейм — 15,1%.

Тем не менее нужно признать, что в общем позиция Крестьянского Союза у его избирателей остается прочной и думается, что в будущем ей предстоит еще больше окрепнуть. За это говорит довольно неудачная политика конкурентов Крестьянского Союза справа и слева.

В образовании латвийской государственности Крестьянский Союз имеет известные заслуги и первый министр-президент независимой Латвии вышел из его рядов. Это лидер Крестьянского Союза — К. Ульманис. Видную роль сыграл и другой деятель Крестьянского Союза, бессменный министр иностранных дел З. Мейеровиц, трагически погибший в августе месяце прошлого года при автомобильной катастрофе. Вообще говоря, Крестьянский Союз не особенно блещет политическими талантами. Закаленных политических деятелей у него не много, да и сама партия образовалась только в дни свобод 1917 года. Вредит партии также пока недостаточная устойчивость ее политической линии, которая иногда может быть характеризована, как либерально-консервативная, иногда как определенно реакционная.

В настоящее время в Латвии у власти находится Крестьянский Союз в коалиции с другими, более мелкими бур-

жуазными политическими группами, но парламентская база правительства чрезвычайно шатка.

* *
*

Социал-демократия и Крестьянский Союз — это и есть два заметных и устойчивых политических образования в Латвии. Помимо них существует политическая вермишель, десяток другой разных промежуточных групп и группок, с количеством депутатов в Сейме от 1 до 3—4. Существующая пропорциональная избирательная система, да еще свободные списки (право вычеркивания и вписывания кандидатов) дает широкую возможность всякой, даже небольшой группе, принимать участие в выборах и попытаться провести хотя бы одного депутата. Этим правом до сих пор пользовались очень широко и число поданых кандидатских списков по всем избирательным округам с каждыми выборами все растет. Это обстоятельство создает чрезвычайно пестрый состав Сейма, при котором все труднее становится собрать определенное правительственное большинство. Вместо политических партий действуют отдельные лица, сплошь и рядом руководствующиеся не какими либо политическими принципами, а личными соображениями и комбинациями, что порождает целый ряд нежелательных явлений и зачастую компрометирует парламентскую систему. Вот почему в последнее время с разных сторон раздаются голоса и делаются предложения с целью ограничить чрезмерную «свободу» и «демократизм», являщиеся часто злоупотреблением свободы и демократии.

Все же из мелких политических образований следует указать на некоторые группы центра. Более заметную роль здесь до сих пор играл так называемый «демократический центр», который за несколько лет существования Латвийской республики неоднократно видоизменялся и преобразовывался. В первом Сейме эта группа имела 6 депутатов, теперь же только 5, да и те сами теперь раскололись на две части: двое поддерживают тепершнее правительство, трое находятся в оппозиции. Неустойчивость этой группы является характерной для средней интеллигенции и городской мелкой буржуазии, которые до сих пор составляли базу «демократического центра». Но политческая невыдержанность губит его и это заметно с каждыми новыми выборами.

Рядом с «демократическим центром» стоят в настоящее время две группы «новохозяев», каждая из которых имеет по 3 представителя в Сейме. Это продукт переходной стадии в аграрной реформе и есть все основания полагать, что со

временем эти группы исчезнут, ибо их политическое руководство настолько бесформенно, что долго пленять новохозяев они не смогут. Кто останется за социал-демократией, а кто пойдет к Крестьянскому Союзу.

Справа от Крестьянского Союза наиболее видную роль играет так называемый «беспартийный национальный центр», во главе с А. Бергом, прежним демократом, а в настоящее время проповедником буржуазной диктатуры и фашизма. Группа эта является представительницей городской торговли и промышленной буржуазии, которая пока не так уж многочисленна. В Сейме она представлена тремя депутатами, и если не по количеству депутатов, то по сравнительно ярко выявленной политической линии является идейной руководительницей правого крыла. К ней же примыкают 2 депутата христианских националистов.

Имеется еще несколько специально латгальских групп, наиболее крупной из которых является в настоящее время католическая христианская партия, во главе с несколькими ксендзами, между ними епископ Ранцан. Далее идут латгальские трудовики, латгальские демократы, латгальские крестьяне и др. Но какие либо политические принципы их редко когда разделяли, скорее личные антипатии и соображения.

Все болезни парламентского бытия приходится переживать и молодым демократическим государствам. Даже и меньшинства (немецкое, еврейское, русское и польское), имеющие вместе 15 депутатов, в связи с образованием последнего кабинета Ульманиса разбились на поддерживающих и оппозиционеров. Между меньшинственными депутатами следует отметить пробравшегося в 1921 году из России православного епископа Иоанна, латыша по национальности и тихоновца по направлению.

* *
*

Заканчивая характеристику политической жизни в Латвии, должен указать, что в общем политическая и хозяйственная жизнь страны за эти годы сильно упрочилась. В стране уже почти забыли колебания курса валюты, забылись также всякие политические пертурбации. Атмосфера устойчивости проникла во все области жизни и преступником покажется всякий, стремящийся нарушить эту устойчивость. Люди отдыхают от треволнений прежних лет и стремятся восстановить потерянное.

Есть и в хозяйственной жизни свои больные места и это прежде всего пассивный торговый баланс, но так как пла-

тежный баланс пока удовлетворителен, то особых затруднений пока не заметно. Все внимание хозяйственных органов страны, а также законодательного учреждения обращено на развитие и усиление экспорта и сокращение хозяйственно ненужного импорта. В то же время делается все возможное, чтобы уничтожить таможенную границу между Латвией — Эстонией и Латвией — Литвой. К сожалению, до сих пор особенно заметных результатов эти усилия не дали, но так как в Латвии ни в одном общественном слое не имеется противников таможенной унии с упомянутыми двумя странами (больше колебаний заметно у наших союзников), то думается, что со временем, хотя и постепенно, мы до этого дойдем.

Уже теперь принимется ряд мер к более тесному хозяйственному сближению и это несомненно отразится на ходе развития молодых республик.

Делается также все возможное, чтобы привлечь русский транзит через порты Латвии, иногда даже чуть ли не с убытком для наших железных дорог. Это делается в сознании необходимости уничтожить и тень упреков в затруднительности для русской торговли свободного выхода на Запад. Этих затруднений нет.

Молодая республика Латвия стремится к мирному и доверчивому сотрудничеству со всеми соседями. Она переживает полосу творческой созидательной работы и готова всякому протянуть дружескую руку. И неохотно она возьмет в эту руку меч. Прежние раны в значительной мере уже зажили и будем надеяться, что обновленная Европа найдет мирные пути для сожительства народов. Об этом должен прежде всего позаботиться ее пролетариат.

Р. Дукурс.

На путях объединения балканских славян*).

В своей последней статье («Gesellschaft» — июль 1925 г.) «Югославянская государственная проблема» Вендель рассказывает о новом белградском правительстве, создавшемся под знаком соглашения между сербами и кроатами (хорватами). При этом кроатская крестьянская партия отказалась от своих республиканских, федералистических и антимилитаристских требований и высказалась за монархию, милитаризм и единое югославянское государство. Вендель видит в этом соглашении решительное торжество идеи государственного и национального единства югославянских племен, сербов, кроатов и словенов, сливающихся в нацию.

В основе Вендель прав. Произошла большой важности победа югославянской государственной идеи над идеей распада государства и его федерализации. Но этим еще не исчерпываются внутриполитические проблемы, связанные с государственным строительством. В войну вступила Сербия, имеющая четыре миллиона жителей, а вышла из нее Югославия, насчитывающая двенадцать миллионов. В это число входят десять миллионов жителей, принадлежащих к югославянским племенам, сербам, кроатам и словенам, и два миллиона, относящихся к национальным меньшинствам. Несомненно, что сербы, кроаты и словены принадлежат к **одной** нации, но они никогда, с самого своего поселения на Балканском полуострове, не жили общей государственной жизнью и входили в состав трех различных государств — Турции, Австрии и Венгрии. Их отделяет не столько разли-

---

*) С любезного разрешения автора, «Воля России» печатает ту часть статьи Живко Топаловича «На новом Востоке», появившейся в «Der Kampf», которая затрагивает весьма интересную проблемму объединения балканских славян. Этой проблемме в № 2 «Воли России» была посвящена статья видного представителя болгарского земледельческого союза, Косты Тодорова. Живко Топалович вождь югославянской социалистической партии.

чие языка, сколько различие исторических традиций. Сущность югославянской проблемы сводится к следующему: как могут эти племена создать единое государство и жить общей государственной жизнью, чтобы при этом государство сохраняло национальный характер и эти племена развивались в нацию.

Большие племена с собственной традицией и собственной культурой считают себя особыми нациями и борются против растворения в более высоком понятии нации. Они стремятся сохранить не только духовную, но и политическую самостоятельность и требуют известного рода государственного суверенитета. Они считают его воплощенным в конфедеративном союзном государстве или даже в собственных самостоятельных государствах.

В течение шести лет остается открытым вопрос, являются ли исторические переживания каждого югославянского племени настолько глубокими, классовая дифференциация настолько значительной и воля к государственной самостоятельности настолько сильной, что они не могут быть охвачены рамками единого югославянского государства, которое должно, таким образом, или быть заменено свободным конфедеративным союзом или даже совсем распасться. Реакционные остатки Турецкой империи и габсбургской монархии радовались уже в ожидании распада Югославии. Он радовал также империалистов иных соседних стран, видящих в балканских карликовых государствах подходящий объект для колониальной эксплуатации. Распад Югославии был главным козырем в игре советского правительства, которое видело будущее коммунистической революции на Балканском полуострове в союзе рабочего класса с восстающими югославянскими племенами.

Сербская монархия, государство, выкованное в процесе ряда войн, армия, бюрократия и все старые политические партии были безусловно враждебны идее федерации. Их лозунгом было: единое государство или ампутация, т. е. отделение чисто кроатских и словенских областей от государственного организма. Сначала незначительным большинством была принята централистская конституция. Затем пытались сохранить это большинство при помощи мягких мероприятий. Наконец, перешли к применению насилия. Но если сопротивление кроатов и словенов стало бы слишком сильным, должна была наступить безумная ампутация. Вместо государства, раздираемого постоянной междуусобицей, предполагалось объявить государственной территорией все те области, где живут сербы, те же области, где население чисто кроатское или словенское, с тремя миллионами жителей, поставить вне пределов государственной границы, ко-

торая должна была пройти у самого Аграма и Лайбаха, и предоставить своей собственной судьбе. Сербское государство нашло бы в себе силы, чтобы обеспечить свое существование, для кроатов и словенов эта ампутация, при которой они оказались бы почти разделенными пополам, означала бы полное уничтожение. Изгоям не оставалось бы другого выхода, как присоединиться к Венгрии или к Италии, где их ожидало бы беспросветное будущее.

Пятилетняя борьба, полная тяжелых испытаний, показала, что ни кроаты, ни словены далеко еще не имеют тех органов национальной жизни, которые являются носителями непреклонной государственной воли: сильная национальная интеллигенция, сильная городская буржуазия, духовные и экономические интересы которой создают силы для организации открытой войны за государственную самостоятельность. В Кроатии политическое руководство принадлежало крестьянской партии, которая не могла создать ничего серьезного из своего национализма. Когда дело дошло до открытого столкновения, оказалось, что эти крестьянские массы могут быть легко удовлетворены общинным и уездным самоуправлением и свободой языка и религии. Слабая городская буржуазия и интеллигенция—эти подлинные бунтовщики, взялись за ум: они поняли, что в большом югославянском государстве они найдут лучшие возможности развития, чем в жалких племенных государствах. Поставленные сербами перед альтернативой: жить под угрозой террора и быть в конце концов выброшенными из государственного организма или подчиниться единому государству, буржуазия и интеллигенция вместе с крестьянством окончательно отказались от идеи кроатского племенного государства. Осталось одно лишь словенское католическое духовенство, которое упорно держится за федерализм, опасаясь за судьбу католицизма в едином государстве. Но как племя и как партия, оно — ничтожная сила в сравнении с могущественной сербо-кроатской коалицией. Если теперь политический вождь кроатов — республиканская партия, руководимая Радичем, открыто заявила о своей капитуляции, если она принимает участие в государственной работе единой Югославии, то это есть результат пережитого опыта: ясно, что нет другого пути, что нынешнее состояние соответствует действительному соотношению сил, а также — умственной и политической зрелости самих племен и, следовательно, их самым насущным жизненным интересам. Всё различие в степени развития Албании и Югославии выражается в том факте, что в первой государство капитулировало перед племенами, а во второй — племена — перед государством.

Теперь мы стоим перед совершившимся фактом: юго-

славянское государство утвердилось, как единое государство. Не может быть больше речи о распаде или радикальной федерализации. При предстоящем пересмотре конституции речь будет итти о степени самоуправления в экономических и культурных вопросах, причем придется считаться с племенными чувствами и местными потребностями.

Но здесь мы хотим дополнить мысль Венделя. Если идея самостоятельного государственного существования югославянских племен капитулировала, то, благодаря созданию нового сербо-кроатского правительства, капитулировала и другая крайняя идея, не желавшая и слышать о племенах и стремившаяся управлять страной помимо них и против них, от имени югославянской нации. До сих пор в правительстве преобладали идеи так называемых независимых демократов и их вождя Прибышевича: **уже существует** югославянская нация, **уже нет** никаких племен. Отсюда вывод: не соглашение племен, но простое большинство всего народа. Нельзя допускать, чтобы племена находили свое выражение в экономической, политической или культурной областях. Напротив, все средства государственной власти должны быть направлены на уничтожение племен.

Эта политика заключается в том, чтобы закрывать глаза перед фактами. Племена существуют. Они существуют, как политическая, духовная и в некоторых отношениях экономическая сила. Нужно предоставить этим племенам, как таковым, возможность проявлять себя в государстве. Нужно дать время совместному существованию этих племен в пределах государственного целого, общению между ними и экономическому развитию, чтобы из племен образовалась единая нация. Пока этот процесс еще не закончен, совершенно неизбежно, что племена, как таковые, будут выступать на всех поприщах государственной жизни, и руководство государством будет принадлежать союзу сильнейших племенных партий. Поэтому мы эту новую эпоху югославянской государственной жизни, когда племена смотрят на государство, как на почву для приискания соглашения, рассматриваем, как здоровую и безусловно неизбежную фазу, переходную к созданию югославянской нации. В этот период национализм, как племенной, так и югославянский всё больше теряет свою притягательную силу в отношении рабочего класса. В этот период начинается создание подлинно больших идейных партий на всем протяжении государства. В этот период начинается чисто классовое деление и борьба за политическую и хозяйственную демократию. Лишь теперь станет возможной успешная борьба за защиту национальных меньшинств: до сих пор она осложнялась борьбой между собой югославян-

ских племен и, объявленная опасной для государства, оставалась бесплодной.

Герман Вендель заканчивает свое исследование нынешних событий в Югославии замечанием, что естественное развитие ведет к завершению югославянского единства путем присоединения к сербам, кроатам и словенам болгар — последнего из четырех племен, составляющих одну нацию. В основе своей мысль эта совершенно правильна, но необходимо предварительно найти пути и средства для претворения ее в жизнь. Ибо болгары не являются, подобно кроатам, неопределившимся фактом, они — политически зрелый народ с сильно развитой государственной волей. Именно крепко вкоренившееся стремление к государственной и национальной самостоятельности, а также жертвы, которые были принесены для ее осуществления, создали нынешнее печальное и, мы надеемся, преходящее положение в Болгарии. Необходимо подробнее остановиться на развитии двух славянских, правильнее было бы сказать, югославянских государств Сербии и Болгарии, имеющих один этнографический базис. Для освещения сербо-болгарской проблемы, самого важного из всех балканских вопросов, нужно предпринять более глубокие исследования. К этому в будущем еще представится случай. Сегодня мы ограничимся тем, что покажем важнейшие обстоятельства, при которых развился Цанковский режим, гнуснейший из всех, которые существовали в Болгарии.

Мучительные годы войны и поражения открыли путь революциям, которые привели к власти в Европе рабочие партии, а в Болгарии — крестьянскую партию, руководимую Стамбулийским. Партия Стамбулийского не лишилась бы так быстро власти, если бы против нее не объединились все силы, воплощавшие в себе болгарскую государственную волю: царь, офицерство действительной службы и запаса, почти вся интеллигенция, почти всё чиновничество, все политические партии и, наконец, македонская организация. Правительство Стамбулийского стало немыслимым именно в ту минуту, когда оно начало проводить политику примирения и соединения с Югославией, то-есть ту политику, которую Вендель считает единственно для Болгарии правильной. Эта политика была в сущности отказом от болгарской государственной идеи, разрывом с длинным историческим прошлым страны, на основе которого было воспитано столько поколений. Конечно, болгары стоят ближе к сербам по языку, по религии и по общему культурному уровню, чем кроаты или словены, но в результате исторического развития сложилось болгарское государство и вырос болгарский народ, имеющий

стремление существовать самостоятельно и собрать вокруг себя славянские племена Македонии, Фракии и Добруджи. Нормальное развитие Сербии должно было пойти в направлении Адриатического моря, в Болгарии — в направлении Эгейского моря. Этому помешали иностранные влияния и противодействия. Изучение глубоких причин этого явления мы предоставляем будущим исследователям. Сейчас достаточно указать, что в решительные исторические минуты, когда происходила ликвидация турецкого могущества на Балканском полуострове, болгары оказались не союзниками всех других балканских народов и наследников Турции, но, напротив, союзниками этой последней. Поэтому они оказались обойденными при дележе Турции. В Добрудже засели румыны, в Македонии — сербы и греки, во Фракии — турки. Все соседи оказались, таким образом, сильнее и могущественнее, только маленькая Болгария была разбита, демилитаризирована, обезоружена, обложена тяжелыми репарационными платежами. У нее не было никакой надежды на улучшение своего положения.

Трехлетний опыт убедил правительство Стамбулийского*) в том, что полный переворот всех государственных и национальных отношений на Балканском полуострове должен неизбежно привести к столь же радикальному пересмотру и изменению болгарской политики. Болгарию окружают теперь возникшие на развалинах гнилой Турции, жизнеспособные и сильные национальные государства. В ближайшие десятилетия Болгария не будет иметь сил, чтобы начать с ними борьбу. Объединение балканских или южных славян, частью которых являются болгары, в общем и целом уже завершилось, причем объединительным центром стала не Болгария, но Сербия. Большая историческая тяжба между Сербией и Болгарией (сходная с борьбой между Пруссией и Австрией) о том, кто из них создаст славянское государство на Балканском полуострове, разрешена в пользу Сербии, которая сама растворилась в большом югославянском государстве. Невозможно представить себе, что болгары будут в состоянии изменить создавшееся положение. Не лучше ли приспособиться к нему? Это выразится в том, что болгары вместе с сербами, кроатами и словенами войдут в общую югославянскую семью, конечно, их национальные особенности и их культура будут при этом полностью ограждены. В этом объединении вместе с ними окажутся македонские славяне, и оно даст им надежду когда-либо слиться с братскими племенами Фракии и Добруджи.

---

*) К выводам, к которым пришел Стамбулийский, должно было бы в результате опыта притти всякое болгарское правительство.

Эта политика крестьянской партии рассматривалась, как предательство государственной и национальной идеи, и вызвала к жизни политический и военный фронт, направленный против крестьянского правительства. Офицеры действительной службы и запаса и милиция, управляемая македонцами, тесно сплотились вокруг царя. Все почти политические партии представили себя в распоряжение этой вооруженной силы. После кровопролитных боев заговорщики свергли крестьянское правительство и передали власть в руки правительства, под председательством Цанкова.

Болгария попала на ложный путь. К сожалению, она не нашла еще выхода из этого тупика.

Живко Топалович.

Среди книг и журналов

Вешняя книга.

(«Дело Артамоновых», М. Горького).

Пушкин — лето, ясное, жаркое, плодотворяющее, полнозвучное... Толстой — зима, холодная, чистая, беспощадная, опустошающая... Достоевский — осень, борение зимою лета, грозовая, озаряющая, вещая, прекраснейшая.

А Горький — весна, разливная, пьянящая, напрягающаяся и зовущая в дали, воскресающая.

Горькому через две весны минет уже шесть десятков. Каждую весну дарит он читателю свою новую книгу — и каждая из них — выявление неустанного роста его мощи, указания на его новые пытания жизни, памятник новым завоеваниям и победам его над словом и мыслью. Последние годы Горький писал воспоминания (изумительны и все еще не оценены его страницы о Толстом), дневники, рассказы. Новейшая его книга — роман-эпопея — *«Дело Артамоновых»*. О романе и будет речь дальше.

Многое в нем напоминает первые лучшие вещи писателя. Но как далеко ушел он от них вперед и выше. Какая сила крепкого, соленого языка, где каждое слово — как в песне — не поддается замене, где каждый образ запечатлевается у читателя; какая сгущенность повествования, впитавшего многолетние наблюдения и думы, какая прозорливость в души человеческие. Одна, две фразы — и перед вами уже живой, характерный, особенный персонаж романа. Их так много, целая галлерея русских людей разного состояния за последние полвека. И ни одного лишнего, все необходимы для летописи города Дрёмова, приютившегося на берегах Оки, для истории рода Артамоновых, пришедших из деревни и постоивших здесь фабрику полотна.

Действие развивается быстро, одна картина сменяется другою, как на экране кино. Но эти картины словно сделаны акварелью, они напоминают по тщательности, любовности отделки, по тонкости мелочей иллюстрации — миниатюры в древних святых, рукописных книгах... Иногда стиль картины меняется: это уже не акварель, а острый

— немного пряный офорт Ропса, от которого веет ароматом «цветов зла» Бодлера.

Вот похороны родоначальника — Ильи Артамонова, бывшего дворового князей Ратских из Курской их вотчины; долго бы ему жить, удача была ему законной женой, а не любовницей, да ошибся, помогая рабочим поднять тяжелый котел: «жила лопнула».

«День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу; она медленно вползала среди двух песчанных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами, похрустывал под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов, сзади всех шел, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачек Антонушка; круглыми глазами без бровей — он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел:

Христос воскресе, воскресе
Кибитка потерял колесо...

Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул:

— Цыц, дурак.....

А так описывает Горький бурные дни Петра Ильича Артамонова на Макарьевской ярмарке:

«Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, это женщина, Паула Менотти. Он видел ее в большой пустой комнате с голыми стенами; треть — стол, нагруженный бутылками, разноцветным стеклом рюмок и бокалов, вазами цветов и фрукт, серебряными ведерками с икрой и шампанским. Человек десять рыжих, лысых, седоватых людей нетерпеливо сидели за столом...

Пятеро таких же солидных, серьезных людей, — согнувшись, напрягаясь как лошади, ввезли в комнату рояль за полотенца, привязанные к его ножкам; на черной блестящей крышке рояля лежала нагая женщина, ослепительно белая и страшная бесстыдством наготы... Артамонов ждал, что все засмеются — тогда стало бы понятнее, но все за столом поднялись на ноги и молча смотрели, как лениво женщина отклеивалась, отрывалась от крышки рояля; казалось, что она только что пробудилась от сна, а под нею — кусок ноги, сгущенной до плотности камня; это напомнило какую то сказку. Стоя, женщина закинула обильные и густые волосы свои за плечи, потопала ногами, замутив глубокий блеск лака пятнами белой пыли; было слышно, как под ударами ее ног гудели струны...

Она закачалась и запела медленно, негромко, в нос, отдаленным мечтающим голосом... Поглаживая ладонями грудь и бедра, она всё встряхивала головою и казалось, что и волосы ее растут, и вся она растет, становясь пышнее, больше, все закрывая собой, так что кроме нее уже стало ничего не видно, как будто ничего и не было»...

Но из этих акварелей и офортов магически художник создает одну большую картину, в которой нет разрывов и срывов, а есть единая симфония — эпопея.

Многострунен оркестр, которым управляет Горький. Вот он вводит новый инструмент в подвластный ему оркестр: песню. Много поют в романе. Автор уже не интересуется передачей того, как поют и как пение действует на аудиторию. То было в его ранних вещах. В «Деле Артамоновых» важны слова песен: от старинного свадебного величания до непристойной частушки. Обилие песен не утомляет, а придает своеобразный колорит рассказу, подчеркивая его историчность.

Да, Горький, как и многие теперь, отдает дань историзму. Чтобы осмыслить настоящее, нужно отойти от него и проследить в прошлом его истоки. Горький это и делает. Историк он незлобивый. Он словно согласен с одним из героев романа — дворником Тихоном, говорившим про плотника Серафима, что тот был «вредный»:

«Памятлин был, помнил много. Все помнил, что видел. А что видеть можно? Зло, канитель, суету. От него большая смута пошла».. Тыкая в пятки петель, он продолжал все более ворчливо: *«Вышибить надо память из людей.* От нее зло растет. *Надо так: одни пожили — померли и все зло их, вся глупость с ними издохла. Родились другие; злого ничего не помнят, а добро помнят».*

Писатель не искажает картин прошлого, не подсахаривая их, но он свободен от желания чернить прошлое. Его больше задевает близкое нам по времени зло, то зло, опасности которого еще не изжиты.

Может быть, иногда темперамент художника пленяется своеобразием былого русского быта, русских людей. Не так изображали их современники. Но судить ли за то, что будочник с измятым кивером кажется теперь поэтичнее городового или милиционера, что в кулачных боях горожан с мужиками окресных деревень склонны мы видеть более могучее проявление лихости, чем в футбольных состязаниях; что уже только этнография для нас наставления новобрачному, чтобы он лег спиной к жене, а та просила бы у него: «пусти ночевать...» Входило ли в цели художника показать, что порода человеческая 2—3 поколения назад была сильнее, здоровее, цельнее, но так показывает его роман — и не о том же свидетельствуют статистики и физиологи?..

Уже второго поколения фабрикантов сильнейший представитель Петр Ильич рано стал уставать:

> «он вспоминал свои детские годы, деревню, спокойную чистую речку Рать, широкие дали, простую жизнь мужиков. Тогда он чувствовал, что его охватили и вертят невидимые цепкие руки: целодневный шум, наполняя голову, не оставляя в ней места никаким иным мыслям, кроме тех, которые внушались делом, курчавый дым фабричной трубы темнил все вокруг унынием и скукой.
>
> В часы и дни такого настроения ему особенно не нравились рабочие; казалось, что они становятся все слабосильнее, теряют мужицкую выносливость, заразились бабьей раздражи-

тельностью, не в меру обидчивы, дерзко огрызаются. В них явилось что то бесхозяйственное, неустойчивое; раньше при отце они жили семейнее, дружнее, не так много пьянствовали, не так бесстыдно распутничали, а теперь все спуталось, люди стали бойчее и даже, как будто, умнее, но небрежнее к работе, злее друг к другу и все нехорошо присматриваются, примериваются...»

Устают фабриканты, портятся рабочие, повидимому, от того, что в них задору нет... «Работает, будто не свое, все еще на барина, все еще крепостные, воли не чувствует... «Такое дело — не труд, таким делом «черт Каина обучил», говорил Тихон.

Умел работать старик Илья Артаманович — из дворовых, «в роде дворян»; «он быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью»; «за все брался с жаром»; «работал напоказ», «желая воодушевить детей страстью к труду»; «все делайте, ничем не брезгайте, поучал он. Илья Артамонов считал, что «большое украшение земли должно изойти» от них». *Живите дружно,* завещал он: «*дело вражды не любит*». «С народом поласковей. Народ хороший»... Умел работать Алексей, приемный сын сестры Ильи («Сестра с барином играла, оно и сказывается», говорил старик). Алексей «относился к делу дерзко, казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого потом и убил». «Бегом прожил он жизнь».

Умел работать муж дочери Петра Ильича — Татьяны, молодой инженер Митя Лонгинов. «Праздничным вечером, в саду за чаем отец Татьяны пожаловался: «Я без праздников прожил» — зять тотчас взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов:

— Это наша ошибка и ничего больше. Праздники устанавливает для себя человек. *Жизнь — красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры, жить надо с удовольствием.* Каждый день можно найти что нибудь для радости». «Своей бойкою игрою с делом Митя был похож на дядю Алексея, но в нем незаметно было хозяйской жадности».

Умел работать работник Серафим — «легкий забавный старичок, искусный работник, прозванный за свой нрав «утешителем». Это было второе его ремесло, заставлявшее старичишку играть, врать, говорить не по совести — печальная необходимость, объединяющая всех «утешителей»: «бесстыдных женщин..., клоунов цирка и акробатов, фокусников, укротителей диких зверей, певцов, музыкантов...» Там, где труд, там и радость, где «дело» — веселье, утешение.

Утешать нужно большинство, ибо они работают потому, что «впрягли и повез». Впрягло дело, безличное, которое растет, «как плесень в погребе». Ради этого дела Петр Ильич пожертвовал сыном Ильей Петровичем, не сумев внушить ему веру в команду и корысть: «Без команды народ жить не может. Без корысти никто не станет работать, объяснял он сыну: «Всегда говорится: «Какая мне корысть?» Все вертится на это веретено. Гляди, сколько поговорок: «Был бы свет насквозь свят, кабы душа не просила барыша». Или «Святой барыша ради молится». «Машина — вещь мертвая, а она смазки просит»...

«Этой мудростью дольше жить нельзя, решает сын и порывает с отцом. Как работника расчитал отца, подлец. Как нищего оттолкнул соображает Петр Ильич».

Дряхлеющее древо Артамоновых вдруг дало новую свежую сочную поросль в лице блудного сына, уходящего учиться истории и делающегося революционером. Стал ли молодой Илья настоящим человеком через познание истории, научился ли он творить ее сам и помогать делать ее другим — Горький не говорит, оставляя его затем за кулисами.

Прошло много лет. Не порвали с отцом, а постыдно бросили Петра Ильича остальные его дети и близкие из страха перед разбушевавшейся октябрьской революцией. Только жена его, «домашняя машина», давно уже ему опостыленшая, — с ним, ласковая, всепрощающая. Петру Ильичу уже 75 лет, он живет «в полусне, медленно погружаясь в сон все более глубокий». Еще около него — Тихон, молчаливый свидетель всех ошибок и преступлений Артамоновых, сурово обличающий вдруг теперь своего хозяина. Старики перебивают друг друга. Петр Ильич понимает Тихона, но не может понять, что революция направилась и против него, что фабрика занята солдатами, что он нищий... Жена с трудом раздобыла для него огурец и кусок хлеба. «Это что? Мне? Все... Это ты мне — за все? За весь страх, за всю жизнь», задыхался Артамонов. «Он швырнул хлеб к двери, сказав глухо, но твердо:

— Не хочу.

Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него, Наталья снова стала совать кусок в руки мужа, пришептывая: кушай, кушай, не сердись. Оттолкнув ее руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью:

— Не хочу. Прочь».

На этом Горький обрывает книгу.

«Дело» Артамоновых, *за делом забывших людей,* кончилось полным банкротством.

В этом кратком пересказе затронута лишь основная мысль романа, отброшено много не менее ценных тем, повторяющих, углубляющих, расширяющих центральную: история брата Петра Ильича — «проюрдонившего Бога», горбатого монаха Никиты; ряд прекрасных жизней русских женщин, лишь упомянут загадочный дворник Тихон, полубезумные слова которого «раздражали душу»...

Роман нужно прочесть, перечесть, читать. Каждый раз он раскрывается с новой стороны, сверкает иными гранями. Это одна из тех замечательных книг, которые не только дают «экстазы», не утешение, а радость, как все высокие произведения искусства, но которые и полны мудрости, говорят «о самом важном».

Д. Лутохин.

Пути русской революции.

(О книге Е. Сталинского).

Русское народничество переживает своеобразную судьбу. Народническое учение и народническое общественное действие образовали единое целое и связались со всей историей русской интеллигенции. Учение народничества в лице своих четырех евангелистов — Герцена, Чернышевского, Лаврова, Михайловского — родилось и выросло в 40-е, 50-е, 60-е, и 70-е годы. Его рассцвет совпал с расцветом русской интеллигеции, русской литературы и искусства. Но затем, когда нтеллигенция надорвалась в непосильной политической борьбе, когда реакция Александра III придушила Россию и настало время «неделания», «малых дел» и чеховских интеллигентских сумерек, грусти, тоски и скуки, тогда и в русской социальной мысли народничество сменилось марксизмом, сознательно отринувшим самую возможность своеобразной русской социальной мысли, выступившим, как «ученичество» и только как ученичество одного из течений — немецкого течения — Запада.

Затем, когда с первым десятилетием 20-го века снова проснулась активная интеллигенция, а с ней возродилось и народничество, то, увы, оно было сильным и ярким только в общественной борьбе, в социальной же мысли оно ограничилось преимущественно лишь частной и конкретной областью — аграрной теорией. Только накануне мировой войны вместе с начавшимся тогда, несмотря на все столыпинские «тормазы», могучим экономическим, культурным и политическим подъемом России, наметилось и общее пробуждение народнической теоретической мысли (напомню книгу Иванова-Разумника, «Этюды» В. М. Чернова, книгу Е. Е. Колосова о Михайловском, «Социальные антагонизмы» Ю. Делевского, очерк «Народничество как социологическое направление» пишущего эти строки и т. д.). Но война резко оборвала и смяла эти едва появившиеся новые ростки.

Затем наступивший в войне и революции великий исторический перелом уже властно затребовал коренного идеологического пересмотра. В том числе и народничество должно было дать новые переформулировки, сделать новые шаги к освещению новых событий и новых проблем. И этот момент явился критическим для него: от того, окажется ли народническое учение способным овладеть этими проблемами, зависело решение самого вопроса — быть ему или не быть. Как выдержала народническая мысль это испытание?

При всем моем глубоком уважении к народничеству, — точнее именно исходя из него, — я должен признать, что до сих пор оно его плохо выдержало. В начале только И. Бунаков в своих «Путях России» и пишущий эти строки работали в этом направлении, в общем же «разбитая армия» народничества пыталась лишь как-то тактически и стратегически перестраивать свои ряды, но не усвоила того, что это возможно лишь в результате развития прежних народнических учений, обновления идеологии и программы, переосмысления новых выдвинувшихся проблем.

Но вот, наконец, как-будто перед нами начало этого идеологического пробуждения народничества. Кроме работы И. Бунакова в «Современных Записках», является ряд других интересных высказываний. Хотя и слабо, возобновляется историко-критическое изучение народничества (особенно Лаврова) в самой России. В развернувшемся в России в самые последние годы «краеведении» бьет прямо источник интегралистического народнического исследования, в некоторых отношениях еще более живой и сильный, чем в народническом бытоизучении 70-х годов. Наконец, выступают с обобщающими идеологическими работами и партийные политические деятели: появляется крупная по размерам и интересная по содержанию работа В. М. Чернова «Конструктивный социализм», а затем выходит книга Е. А. Сталинского «Пути революции», заполняющая важный пробел среди предыдущих работ: *между общими путями социализма и общими путями России она ищет путей русской революции.*

Отметив сразу же, как придирчивый критик, первый бросившийся мне в глаза дефект в самом заглавии работы, — она чрезмерно лаконически озаглавлена «*Пути революции*», в то время, как трактует *о путях русской революции,* — я хотел бы ниже поговорить с читателем об этой весьма полезной и содержательной работе и о выдвигаемых ею проблемах.

Тот, кто подойдет к книге Е. Сталинского с критериями столь подавлявшего нас недавно тяжелого немецкого стиля, может, конечно, отнестись к ней свысока: она невелика по размерам — триста страниц небольшого формата — и не загружена цифрами, цитатами и прочим ученым баластом. Но именно в этом ее достоинство. Не будучи первоисследованием явлений, она стремится дать именно их общий конспект, их обобщающий очерк, подтолкнуть нас *к синтетическому осмыслению комплекса явлений,* — а ведь это именно и составляет задачу момента и без такого синтетического переосмысления явлений и мнений не построится и новое фундаментальное их исследование. С другой же стороны, остается только порадоваться, что у автора не немецкий, а французский стиль изложения: стройный, ясный, местами яркий, делающий книгу живой и общедоступной без всякой искусственной популяризации. И в этой форме, как и в самом существе, чувствуется дух Жореса, глубоко и любовно впитанный автором.

Что же дает нам Е. Сталинский в своем многостороннем построении? Каковы в его понимании пути русской революции?

В самом кратком виде постановку вопроса можно резюмировать так. Как либерально-буржуазные течения, так и наши русские марксистские социал-демократические учения до 1917 года считали, что в России происходит не социалистическая, а *буржуазная* революция. Ленин, а за ним его фракция в 1917 году внезапно — по случаю мировой войны — объявили в России *социалистическую*-коммунистическую революцию. Е. Сталинский отстаивает в своей работе третью позицию: от лица «революционного народничества» (можно только приветствовать, что автор высказывается широко от лица направления, а не узко от лица

партии или фракции) он утверждает и доказывает, что в России имеет место не буржуазная и не социалистическая, а своеобразная *трудовая* революция.

Свой анализ Е. Сталинский ведет в следующих различных плоскостях. Во-первых, сравнительно-критическое изучение социалистических программ и идеологий. Во-вторых, сравнительно-историческая параллель революций в разных странах. В третьих, обобщающая схема социальной истории России. В четвертых, анализ пореформенной социальной жизни и эволюции России. В пятых, резюме опыта 1917 г. и большевицкого переворота и режима. В шестых, выводы о тенденциях повоенной Европы. В седьмых, резюме сложения в ней новых программ и идеологий.

Если исходить из позиций социалистической мысли, почти захваченной на рубеже 20-го века марксизмом, то в виду огромного преобладания в России крестьянства, которое считалось русскими «ортодоксами» первоначально реакционным, а затем в лучшем случае лишь «попутчиком» в борьбе за демократию, и в виду слабости пролетариата, единственного для марксизма носителя социализма, приходилось марксистскому социализму обеих фракций, — и меньшевицкой и большевицкой, — принять, что в России возможна лишь буржуазная революция. Но тут возникало опять-таки крайнее затруднение: ведь слаб в России не только пролетариат, но и буржуазия, вскармливавшаяся притом самодержавием, — как же она могла произвести буржуазную революцию? А если не она сама, то кто же? Неужели пролетариат, который в таком случае, вопреки основной догме марксизма, должен был бы осуществлять не свою классовую идеологию, а идеологию своего прямого классового врага?

Когда вглядываешься теперь вновь в этот логический тупик, в котором билась наша марксистская схоластика и который сжато и ярко вскрывает Е. Сталинский, то охватывает мрачное, жуткое чувство. Ведь этим людям, совершенно игнорировавшим действительность и способным мыслить лишь абсолютами, — либо капитализм, либо социализм, — действительно оставался, когда пришла окончательно революция, только один из двух исходов — либо, упорствуя строго в догме, потерять всякое влияние, либо пытаться захватить в свои руки реальную *трудовую* революцию, внезапно объявив ее социалистической. Страшный кровавый туман не осмысленной нами мировой войны и толкнул Россию в эту фантастику, в эту пропасть.

Если обратиться затем от господствовавших догм к существу проблемы, то прежде всего, — прежде прямого рассмотрения существа русской революции, — возникает вопрос о том, что такое революция вообще, в чем существо революций нового времени, — 18, 19, 20 веков, и, наконец, каковы их вариации в разных странах. Не проводя своего изучения в столь обобщающую теоретическую плоскость, Е. Сталинский оставляет в стороне первые два вопроса, а ограничивается третьим. Он берет два типичных примера, — великую французскую революцию и революцию 1848 года в Германии, — и показывает чрезвычайный их контраст. Там мощная буржуазия в прямой борьбе против феодализма оказывается ав-

тором великой либерально-буржуазной революции, здесь, где феодализм уже полу стерт, а буржуазия слаба, революция терпит скорее поражение. Отсюда урок для России: так как русская буржуазия тоже слаба и нереволюционна, а пролетариат, наоборот, активен и революционен, то шансы буржуазной революции в ней еще слабее, чем в Германии.

Признавая весь живой интерес этих параллелей, хотелось бы призвать автора к их развитию и расширению. Даже и не входя в общий социологический или исторический анализ революции и революций, крайне важно и интересно установить, что, так сказать, каждая страна имеет свою революцию и разобрать, каковы же типы революций в разных странах.

Следующую ступень изучения представляет рассмотрение тех слагаемых, тех тенденций, того, я сказал бы, «общего смысла» русской революции, которые были предначертаны глубоко своеобразной историей России. Следуя ближе всего Ключевскому, Е. Сталинский намечает ту глубокую «антиномию», которая сложилась в России между развитием народа и государства и отсюда выводит основные мотивы русской революции.

Государство, благодаря особым историческим условиям России, было вовлечено в огромную внешнюю борьбу. Борьба эта дала постепенно необыкновенные результаты, привела к созданию колоссальной государственной территории и дала необыкновенную силу самой государственной власти. Но этот рост России не был основан на богатстве и развитии ее различных социальных сил. Наоборот, эти силы не только оставались слабы, но постоянно истощались и надрывались государством. Самая европеизация России усилила не народные слои, а именно власть, дошедшую до апогея своего могущества. И достигавшееся все-таки — преимущественно занимавшим и «оживлявшим» завоевываемые земли крестьянством — экономическое развитие заключалось не развязыванием, а усилением крепостных пут. Государство, в процессе выполнения своих огромных внешних задач, становилось внутри — паразитарным: «государство пухло, а народ хирел», по выражению Ключевского.

Из этой глубокой и роковой «антиномии» и выводит Е. Сталинский тот внутренний двигатель, то внутреннее напряжение, то «высокое давление», которое сделало неизбежной революцию в России и определило ее огромный размах, и ее своеобразный путь. Необыкновенное могущество государственной власти препятствовало ей во-время пойти навстречу народным потребностям и решительными реформами заполнить образовавшуюся зияющую пропасть. Именно сила самодержавного государства удержала его еще надолго после того, как оно выполнило свои «миссии», а новая европейская техника еще более утвердила его физическую силу над народом. Наоборот, ослабленный экономически и культурно и обесправленный политически, народ огромной страны слишком долго не мог собраться с силами для революции. И чем дольше она назревала, тем более скоплялись и углублялись неразрешенные социальные задачи и неминуемо тем глубже, шире и грознее оказалась открывшаяся, наконец, революция.

Принимая вполне эту схему, за выключением некоторых частных, по моему, преувеличений, я только дополнил бы и подчеркнул ее еще двумя своеобразными явлениями русской истории, недостаточно, как мне кажется, выдвинутыми Е. Сталинским. Прежде всего это отсутствие или зачаточность феодализма и всяких вообще средних над-народных социальных слоев. Этот факт сыграл огромную и двойную роль. Во-первых, именно это отсутствие сильного буфера открыло и усилило до максимума столкновение между самодержавием и народными массами. Во-вторых, именно оно уже давно исторически и органически предопределило трудовой характер русской революции. И второй факт — накопление, в силу культурной слабости самодержавия и огромности страны, некоторой самодеятельности и организованности — в общине, в мире, в бытовой кооперации — народных крестьянских масс. Без этого непонятно мощное развитие этого крестьянского «автономизма» в пореформенной эволюции и в обеих революциях.

Затем, центральным местом работы Е. Сталинского является анализ тех социальных сил и процессов, развитием и столкновением которых в пореформенную эпоху определились пути русской революции.

Прежде всего он проверяет гипотезу буржуазного происхождения и характера революции в России. Проанализировав количественный и качественный характер русского капитализма и русской буржуазии, он не находит в них большой и притом революционной силы. Количественно русский капитализм несравненно слабее западного. Качественно он отстал культурно, являет тип «чумазого», сосредоточивает в себе относительно много отрицательных и относительно мало положительных черт. Влияние его на остальное население минимальное. Ничто его не ставит в революционную позицию, наоборот — он тесно связан с судьбой самодержавия. Отсюда логически вытекает негативный твердый вывод: буржуазия в России слаба и не революционна, русская революция не буржуазна.

Но где же тогда силы русской революции? Они — в трудовых низах России.

Необходимость революции была прежде всего обусловлена экономическим, культурным и политическим подавлением крестьянства. Крайне быстрый его прирост, медленность развития доходности сельского хозяйства, недонаделение бывших крепостных крестьян при крайнем обременении платежами, — все это вскоре же по освобождении поставило в России слишком остро проблему малоземелья. Самодержавная власть не сделала почти ничего для ее разрешения. Она почти ничего не дала и для культурно-политического развития крестьянства. И огромная крестьянская масса, поставленная в безвыходное революционное положение, быстро революционировалась.

Также с большой быстротой создался и революционный пролетариат. Он сложился из тех слоев крестьянства, которых малоземелье и обнищание выжимало из деревни в город и в индустрию. Революционный по самому существу, этот пролетариат быстро становился социалистическим, ибо в России была слишком слаба буржуазная идеология и слишком

сильна идеология социалистическая, страстно воспринятая нашей интеллигенцией.

И, наконец, еще две своеобразных силы вошли в сложение российской революции: именно эта российская интеллигенция и национальные меньшинства. Наша интеллигенция, как некоторая молодая культурная сила, жадно черпавшая последние откровения Запада, естественно устремилась к радикальной критике русской действительности, к революционным позициям, к борьбе против политического и социального гнета, к революционному социализму. Не русские народности России, непризнанные и угнетенные самодержавием, естественно, со своей стороны, влили еще новые силы в революцию и еще более сгустили революционную атмосферу.

Это сжатое и отчетливое сведение воедино реальных движущих сил русской революции чрезвычайно интересно и полезно. Все они более или менее нам известны, как отдельные эмпирические факты, как частицы социальной среды, в которой мы жили и которую восприняли. Но забитые абстракциями и ученичеством, мы эту окружающую нас действительность презирали, не оценивали и не осмысливали, ловя пути революции в словах пророков. Между тем, ведь, именно только увидев и поняв этот комплекс социальной жизни России, мы и поймем реальное существо и подлинный «дух» охватившей Россию революции.

Другой вопрос — можно ли признать эту обрисовку Е. Сталинского полной и безошибочной? Как исследователь социальной жизни России, я вижу в ней некоторые ошибки и пробелы, объясняющиеся тем, что автор — естественно — обосновывался на преобладающих мнениях, а между тем последние страдают большими субъективизмами, главным образом — «сверх-критицизмом», обличительством, затемнявшим действительность черной краской. А именно, я вижу две неточных формулировки: развитие капиталистической индустрии и прогресс сельского хозяйства у крестьян были в России — особенно 90-х годов — не так слабы, а скорее довольно сильны. Однако, это не изменяет общих выводов автора в силу двух других недостаточно им выдвинутых обстоятельств: достигаемый крестьянством хозяйственный прогресс не смягчал революционизма крестьян, ибо достигался он ими не благодаря, а прямо вопреки самодержавию, развитие же капиталистической индустрии достигалось преимущественно механически и технически и еще не создавало социально-культурной силы буржуазии. Крупный же пробел я вижу в том, что Е. Сталинский не отметил важного нового явления: превращения русской интеллигенции в трудовую группу, между тем, это окончательно завершает трудовой склад России, а тем самым и трудовой характер русской революции.

Установив, что движущими силами русской революции были не буржуазные, а тудовые элементы, Е. Сталинский рассматривает самый опыт революции и намечает вскрывшиеся в нем тенденции этих подлинных и положительных, созидательных ее сил. Отметив, как слабы и нереволюционны или прямо контр-революционны оказались либерально-буржуазные элементы, указав, что землевладельческий класс революцией уничтожен, а буржуазный до крайности разбит, ослаблен и попорчен, автор обрисовы-

вает глубокое социальное значение совершившейся победы трудовых сил и открываемые им перспективы дальнейшей социальной эволюции.

Этот складывающийся в России трудовой правопорядок обрисовывается Е. Сталинским в следующих основных линиях. «Все русское земледелие находится в крестьянских руках», и это отличает Россию «от всех аграрных стран современности». Этим самым крестьянство окончательно становится базой всего остального хозяйства России. Этот огромный экономический факт скреплен глубокой исторически выросшей и ныне завершившейся социально-правовой структурой: огосударствлением всей земли и господством развившегося в пореформенный период и победившего в революции общинного землепользования. Коллективистические элементы этого обновляющегося — хотя в основах своих старого — аграрного строя России дополняются мощным развитием всякого рода сельско-хозяйственной кооперации, по размерам коей (до ее разрушения — конечно, временного — большевиками) Россия является первой в мире. В тесной связи и единении интересов с крестьянством воссоздается и воспитывается и пролетариат. Разрушение самодержавия, исчезновение землевладельческого класса, слабость буржуазных и средних классов толкают Россию к превращению в трудовое демократическое государство. Полное восстановление «беспримесного капитализма» в индустрии и в городе, — идущего к ограничениям и на Западе, — представляется не только нецелесообразным экономически, но и мало вероятным социально-политически. Таким образом, в России, выходящей из революции, явственно обрисовывается остов нового социального строя, еще далеко не социалистического, но уже отнюдь и не капиталистического: строя трудового.

Нечего и говорить, что долго занимаясь изучением самой основы этого строя, — русской деревни, — я могу только всецело подписаться под этими схемами: этот трудовой строй давно уже рос и креп в необъятной России, мы только из за догмы и абстракций не умели до сих пор его точно изучить и обобщающе осмыслить. *Ведь и до сих пор и у большевиков, и у интеллигентов, стремящихся притти им на смену, господствует старая и скучная фантастика о «расслоении» крестьянства, о «кулачестве», «собственничестве», «хуторизации» и т. п., якобы готовящих в завтрашней России какую то новую «крестьянскую буржуазию».* Частица из этих ходячих мнений проскользнула и у самого Сталинского: доказывая необходимость удержания огосударствления земли, он опасается при свободном торговом земельном обороте обезземеления масс крестьянства. Это явный диссонанс со всей его концепцией: ведь, это обезземеление возможно при «расслоении», а уже после Н. Н. Черненкова мы знаем, что его нет. Главный аргумент в пользу трудовой национализации земли лежит не в распределении, а в производстве: перестав выматывать из себя капиталы на покупку и аренду земли, крестьянин может обратить все свои накопления именно в интенсификацию производства. Некоторым преувеличением момента распределения грешил, следуя за другими, и я сам лет двадцать тому назад, но при дальнейшем углубленном изучении давно от него отказался.

Другое критическое замечание по вопросу об основах трудового строя России состоит в том, что я бы отвел в завтрашней его эволюции еще

меньше места государственно-принудительному элементу, чем это делает Е. Сталинский. Я стою за возможно широкий простор свободной конкуренции, ибо только при ней обеспечится широта и разнообразие хозяйственных экспериментов, стимул для расцвета самих коллективов и контроль над их развитием и построением. Я считаю, что не только именно из свободной конкуренции, — как это было до сих пор, — разростается кооперативный строй, но что именно только кооперация, родившаяся из конкуренции — совершенно без всяких тепличных воздействий — будет здоровой, крепкой и творческой. Я склонен за «трудовой демократией» всегда подразумевать по преимуществу «кооперативную демократию».

Последними пунктами многостороннего анализа Е. Сталинского явились рассмотрения тех после-военных социальных явлений и идейных поворотов, которые и на Западе явственно намечают эволюцию в сторону трудовой демократии. Жестокий хозяйственный надлом, широкое вмешательство и в войне, и после нее — всяческих коллективов, победа в войне демократии и тенденция демократии разростись из области политической в область экономическую, — все это, как и многие другие более частные явления, толкает и Запад к глубоким социальным перестройкам, — еще не социалистическим, но уже и не капиталистическим, в которых, как и в России, намечается новое здание трудового строя.

Глубокие классовые перетасовки, особенно кризис трудовой интеллигенции (автор, к сожалению, не употребляет этого термина и не разрабатывает этого понятия), — повышение запроса личности после военной борьбы, кризис обанкротившегося в войне старого марксистского социализма и ряд других психологических обновлений создает и некоторую новую социальную идеологию, уже выходящую из порочного круга диалектических абсолютов — либо капитализм, либо социализм, — осмысливающую тенденции реальной жизни, начинающую строить теорию и программу трудовой демократии.

Эта эволюция Запада, намеченная Е. Сталинским кратко, но многосторонне, — мне кажется, не может быть в общем серьезно оспариваема. Я бы сказал, как это ни пародоксально, что даже возникшие антидемократические диктатуры (по крайней мере фашизм в Италии) известным образом использовали эти течения послевоенного «трудовизма». И эта эволюция Запада окончательно нам осмысливает и утверждает *закономерность трудовой революции России.*

Эта краткая статья не может входить углубленно в существо затронутых крайне сложных и крупных проблем. Это — конспект, который я составил для себя и для серьезного читателя и в котором я постарался выдвинуть возможно рельефнее главные пункты этой содержательной и серьезной, воодушевленной и честной работы. Некоторые частные критические замечания я наметил выше. Ряд параллельных и скрещивающихся положений читатель найдет в одновременно печатающемся моем обобщающем очерке «Социальный строй России», который я начал писать до прочтения книги Е. Сталинского, но писал одновременно с ее прочтением

и для которого она мне была весьма интересна и полезна. Здесь в заключение мне остается только высказать одну общую мысль, давно уже у меня сложившуюся и несомненно выдвигаемую работой Е. Сталинского, хотя им прямо и не формулированную.

Эту мысль я могу здесь выразить лишь в форме общего парадоксально звучащего вопроса: уж так ли *революционна русская революция?* Правильно ли говорить *о революции в России и об эволюции на Западе?* Не является ли *Запад в известном смысле более революционным, чем Россия?*

В самом деле, тот социальный переворот, который единственно свершился и навсегда утвердился в последние десять лет, — земельный переворот, — есть только завершение всего аграрного строя и всей аграрной эволюции России. Огосударствление земли есть возвращение — в усовершенствованном виде — к порядку, уже жившему 200—300 лет назад. Общинная база этого обобществления земли сложилась как прямое завершение 200—300 летней эволюции бытового землепользования. Уничтожение частного не трудового землевладения не завершило ли лишь те удары, *которые нанес Иван Грозный боярству, а Александр II крепостничеству?*

Когда об освободительных реформах Александра II представители населения говорили: «в новизнах твоих старина нам слышится», когда Михайловский называл русскую аграрную революцию «консервативной», то это было только констатирование глубокой исторической истины. Наша крестьянская революция только завершила частью вековую крестьянскую эволюцию, частью даже народные противофеодальные акты самодержавия. *После неполного освобождения крестьян свершилось полное самоосвобождение крестьянства. И оно незыблемо именно потому, что эволюционно.*

И эта революция — эволюционна и в том смысле, что *не только завершает, но и начинает новую закономерную эволюцию.* Основы трудового строя отныне утверждены. Не трудовые силы не имеют шансов их разрушить, должны в будущем с ними сотрудничать, их обслуживать, в них врастать, в них растворяться ими «перевариваться». В социальной области перед Россией больше нет собственно революционных, остро революционных проблем. Ей предстоит только один еще революционный шаг — политическое завершение демократии.

Наоборот, именно Запад в *социальном* смысле революционен. Его социальный строй сложен из многих чрезвычайно различных, отчасти противоположных и резко враждующих социальных сил. И потому именно там общество раздирается глубокой внутренней социальной борьбой. И эта борьба еще не разрешена в своем критическом кульминационном пункте, — как это уже произошло в русской революции, а длится, развивается, создает кризисы экономические и политические — в том числе и кризис демократии, — ибо нет еще единой побеждающей социальной силы, ибо сплетение борющихся сил слишком сложно и сплошь и рядом упирается в тупики.

Значит ли это, что Запад топчется на каком то вулкане, идет к какому то еще более страшному, чем Россия, революционному взрыву? Нет, можно надеяться, что нет, но только потому, что он от него застраховался

самым надежным образом: системой демократии. Пройдя уже через свою *политическую* революцию, Запад построил несокрушимое русло, в котором бурлящая внутри его социальная революция обращается неизбежно и автоматически в социальную эволюцию.

И Россия вступала уже в это русло. Брешь в самодержавии была уже пробита первой революцией. Политическая жизнь, хотя и полулегально, уже складывалась в России, русло демократии уже промывалось и прорывалось простым ростом социальной самодеятельности. Накануне войны Россия вступала уже в полосу демократического строительства и только война, — нарушившая это постепенное сложение российской демократии и внезапно упершая Россию в огромные проблемы западного мира, к которым не были подготовлены ни разлагавшаяся власть, ни еще только начавший организоваться народ, ни разбитая и в некоторой доле пораженческая интеллигенция, — только мировая война выбила Россию из этого открывавшегося уже ей русла демократии.

Мировая война и была социальной революцией Запада, вырвавшейся из берегов там, где плотины демократии были недостроены: в Германии, Австро-Венгрии, Турции. И только этот непонятный заражающий вихрь социального безумия захватил Россию, только он вытолкнул ее из демократического русла именно потому, что оно еще лишь строилось, и отдал ее в руки слепых учеников Запада — большевиков. Этот исторический факт еще не понят ни у нас, ни, конечно, на Западе. А понять его надо. Ибо только его поняв, мы увидим, что в городе, в «военном коммунизме» Россия пережила собственно *чужую революцию*, а в деревне, в земельном перевороте она лишь завершила свою историческую социальную эволюцию.

К. Кочаровский.

Из области книжного дела.

Б. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ».

Книгоиздательством этим издается восемь периодических органов:

8. *Работник Просвещения. Орган Центрального Комитета и Московского Губ. Отдела Союза Работников Просвещения. Выходит два раза в месяц. Каждый № 24 стр. (22 × 30). С рис. Подписная цена 3 руб. в год.*

Задача журнала: «Освещать и отражать на своих страницах все вопросы профессиональной жизни, а частью и производственной деятельности работников просвещения», быть «важнейшим рычагом союзной жизни, союзного воспитания, союзной пропагандой». Редактор журнала М. Я. Аплетин. Сотрудники — в огромном большинстве случаев, за немногими исключениями, — сами работники просвещения. О содержании журнала дает понятие следующая статистика. За один только 1923 год было напечатано в журнале 288 очерков и 348 заметок с мест, которыми и изобилует каждый №. Отделы журнала: 1. Руководящие статьи. 2. «Во порядке обсуждений». 3. По Союзу. 4. Съезды и конференции. 5. За рубежом. 6. Бытовые зарисовки. 7. Хроника. 8. Среди Книг и газет. 9. Центральное Справочное Бюро (вопросы подписчиков и ответы на них). 8. Спрос труда. (Журнал стремится обслуживать не профессиональную верхушку, а низовых профессиональных работников). О распространении журнала дают понятия следующие цифры. Тираж журнала был в январе 1923 года 4.000. В 1924 году — 8—9.000. Главная масса подписчиков (73%) составляли — в 1924 году местные отделения Союза, Губпросы и Упросы, выписывающие журнал не только для себя, но, по большей части, и для распространения его по местным комитетам. Эти «месткомы», профессиональные уполномоченные и индивидуальные подписчики составляли в том же году 24,5%, а отделы Народного Образования — 2,5% общего числа подписчиков. О содержании журнала можно судить и по следующим цифрам: за 1924 год было напечатано на его страницах всего меньше статей по вопросам педагогическим (пять статей), а всего больше по международному движению (77 статей). Затем следуют такие вопросы: организационные (43 статьи), по культурной работе (29), по истории Союза (29), по обще-политическим (23) и тарифно-экономическим (тоже 23). Журнал стоит на своих ногах, и об его успехе можно судить по следу-

ющему факту: в 1924 году подписная плата была, благодаря наплыву подписчиков, понижена с 6 на три рубля в год. После этого тираж еще увеличился в 1925 году достиг 10 тысяч. Впрочем, читатели жалуются (см. № 8 за 1925 г.), что журнал еще «не проник в гущу союзной массы» и что «есть целый ряд работников просвещения, которые совершенно не знают о его существовании». Обращают на себя внимание (см. № 11 за 1925 год), большие бытовые фотографии, ярко выражающие массовую психологию учительства.

9. *Учительская газета. Орган Центрального Комитета Союза Работников Просвещения СССР. Под ред. А. Багрянцева, С. Ингулова, Ф. Кипарисова, Н. Крупской, С. Попова и С. Сырцева. М. Выходит еженедельно. Каждый № от 8 до 12 стр. 47 × 64. Подписная цена в год 2 руб.*

Большая политическая, общественная и педагогическая газета, задача которой наряду с вопросами общей политики, освещать учительские нужды и запросы и систематически руководить общественно-культурной деятельностью учительства», «создавать марксистски-подготовленного учителя общественника, приспособив его к новым задачам трудовой школы, приблизить его к основным вопросам текущей политики внутренней и международной жизни». Газета стремится широко и политически воздействовать на массу сельского учительства и приобщать его к текущим вопросам политико-советской власти и коммунистической партии посредством «всестороннего освещения жизни, настроений и быта, общественной работы деревенского просвещения», «путем разъяснения законов для крестьянства, указаний по вопросам агрономическим, землеустройства и землепользований, налогов, сельской кооперации, кредита и пр.». Газета старается «держать читателя в курсе всех важнейших мероприятий государства в области школьного дела и работы Союза Работников Просвещения». Выходит газета лишь с конца 1924 года и рассчитана на рядового члена Союза — просвещенца. К январю 1925 года спрос на газету превзошел предложение, и редакция не могла удовлетворить 25 тысяч запросов лиц, желавших абонироватся на газету. Лишь через два месяца удалось редакции увеличить ее тираж в такой мере. В начале 1925 года он превзошел 90 тысяч экземпляров. Среди сотрудников газеты много местных работников просвещения из «низового учительства». В ноябре 1924 года газета насчитывала 141 корреспондента с мест, а в январе — около тысячи. В редакции ежемесячно получается средним числом около двух тысяч корреспонденций. Содержание газеты таково: в каждом номере помещаются — передовые статьи по текущим политическим вопросам, под углом зрения общей политики коммунистической партии, затем обзоры «за неделю» (краткие характеристики выдающихся политических событий в СССР и заграницей); в других отделах уделяется много места очередным вопросам из области просвещения профессионального движения, методом и формам общественных работ учительства среди населения и т. д.; постоянные отделы: «на общественно культурной работе», «жизнь и быт», «маленькие фельетоны», стихи, отдел самообразования. Периодически ведутся беседы о марксизме и «о на-

шем Союзе». Эти обзоры излагаются обычным отвлеченным языком. Отметим борьбу газеты против беспорядочности переводов и увольнения работников просвещения, в результате чего Наркомпрос тоже «дал некоторые директивы об урегулировании и упорядочению дела в перебросах, и об улучшении правого положения учительства. В целях борьбы с книжным голодом в деревне и чтобы облегчить учительству покупку книг, газета организовала довольно широкую кампанию под флагом «Внимание к дальнему» и стала устраивать шефства для помощи книгой сельскому учительству от дальнейших углов СССР.

10. *Народный учитель. Ежемесячный общественно-педагогический и научно-популярный журнал. Под. ред. А. Вигалова, Н. Иорданского, Ф. Кипарисова, А. Коростелева, Н. Крупской, А. Луначарского, А. Яковлева. 2-й год издания. С рис. до 128 стр. (18×27). Подписная цена 5 р. в год.*

Задача журнала: помочь учителю разбираться во всех вопросах: связанных с его повседневной работой, «не только в вопросах педагогики и культурной работы, но и тех, с которыми сталкивается народный учитель в своей общественной работе». Журнал стремится расширять кругозор учителя, как в области общественных, так и естественных наук и во всех других областях знания. Как и в других периодических изданиях «Работника Просвещения», редакция «Народного Учителя» тоже стремится опереться на сотрудников из того самого круга читателей, которого она намеревается обслуживать. «Во что бы то ни стало, говорит редакция, мы должны организовать всероссийское сотрудничество местных работников в нашем журнале. Редакция не желает смотреть и на журнал и на себя лишь как на поставщиков печатного материала, она взяла на себя обязательство всегда быть к услугам своих читателей в деле помощи советом, справкой, указаниями, разъяснениями, в чем так часто нуждается работник просвещения на местах». В журнале следующие отделы: 1. Общий, (статьи и материалы по обще-политическим и общественно-культурным вопросам). За год было напечатано таких статей 57. 2. Из педагогического опыта (52 статьи). 3. «Как живет и работает народный учитель» (59 статей). 4. «Общественная работа учителя» (15 статей). 5. Сельское хозяйство и народный учитель (28 статей). 6. Вопросы науки и научного мировоззрения (17 статей). 7. Политическое обозрение (17 статей). 8. Среди Книг (48 статей). 9. За рубежом (9 статей). Кроме того 70 статей по разным другим вопросам, не вошедшим в продыдущие рубрики. Тираж журнала достиг в настоящее время 20 тысяч экземпляров. В 1925 году в виду появления «Учительской Газеты», «Народный Учитель» видоизменил свою программу в сторону большего обслуживания самообразовательной работы учительства и практических вопросов его повседневной деятельности. В № 4 за 1925 год даны подробные сведения о читателях и читательстве «Народного Учителя» по данным специальной анкеты.

11. *На Путях к Новой Школе. Орган Научно-Педагогической Секции Государственного Совета (ГУС). Выходит ежемесячно с 1924 года, двой-*

ными книжками шесть раз в год. Изд. «Работника Просвещения». Около 240 стр. в каждом номере (17 × 27). Подписная цена 6 руб. в год.

Задача журнала состоит в «разработке проблем новой школы и социального воспитания, отражая работу научно-педагогической секции ГУС'а, Соцвоса (Социального воспитания), опытных показательных учреждений и других центров научно-педагогической мысли СССР». Среди сотрудников — известные русские педагоги, профессора, общественные деятели, в том числе много беспартийных. Отделы журнала: 1. Общий. 2. Из педагогического опыта. 3. Хроника. 4. Из переписки с читателями. 5. Библиография. До 1924 года журнал издавался Госиздатом и расходился в количестве лишь 3.800 экземпляров. С января 1924 года издание перешло к «Работнику Просвещения» и в том же году тираж журнала возрос до 15 тысяч, еще одно доказательство жизненности и активности этой фирмы. Первая же книжка, вышедшая после этого перехода, напечатанная в 8 тысячах экземплярах, немедленно потребовала второго издания. В настоящее время журнал считается центральным органом новой советской педагогической мысли. Одною из основных и руководящих идей журнала является тесная и неразрывная связь школы с жизнью, затем связь советской школы с политикой и с борьбой рабочего класса, затем с хозяйственными и культурными задачами советской власти. О читаемости этого журнала можно судить по следующим статистическим данным: 30% тиража выписывается «организациями по линии Наркомпроса; 51% — организациями по линии Союза работников просвещения; 15% расходится по индивидуальным подписчикам в городах; 2% — в деревнях. Таким образом, более половины тиража попадает к работнику просвещения через их союзную организацию, несмотря на то, что это журнал Наркомпроса, а не Союзный. С марта 1924 года имеется особое приложение: «Информационный листок опытно-показательных учреждений» (новых школ и т. п.).

12. *Бюллетень Просвещения. Ежемесячный Библиографический журнал Российской Государственной Библиотеки по Народному Просвещению. Издается с 1925 года. Издательство «Работник Просвещения». До 112 стр. каждый. (17 × 26). № 4 руб. в год.*

Журнал представляет собой библиографический ежемесячник только по вопросам народного образования и дает обширные, подробные и даже исчерпывающие сведения, как о книгах, так и о журнальных статьях по этому вопросу. Редактором журнала является И. Цветков, Е. Проскурякова и В. Чарнолуский. Журнал дает отчет только о тех изданиях, которые выходят на русском языке в пределах СССР. Отделы журнала: 1. Библиография новых книг и брошюр по народному образованию с подробными библиографическими описаниями каждого издания по его подлиннику, с присоединением краткой аннотации: перечислением основного содержания, иной раз с извлечениями, характеризующими точку зрения его автора; элементов критической оценки изданий Бюллетень не дает. Каждая книга сопровождается шифром международной десятичной си-

стемы, по индексации «Книжной Летописи», официального органа Книжной Палаты СССР. Тираж изданий не отмечается. 2. Библиография новых статей по всем вопросам и отраслям народного просвещения в форме полного библиографического описания каждой статьи с примечаниями к нему, в случае недостаточной ясности (иногда с краткими аннотациями тоже). 3. Полная библиография новых периодических изданий по всем вопросам и отраслям народного просвещения и по библиографии с более детальной аннотацией. 4. Полная библиография новых учебников и учебных пособий для учебных заведений и просветительных учреждений всех типов. 5. Список учебников и учебных пособий, одобренных, рекомендованных и отклоненных ГУС'ом. Насколько позволит место, редакция журнала намерена составлять и рекомендательные списки книг и библиографическую хронику по вопросам просвещения. В вышедших №№ этого журнала программа эта выполняется с щепетильной точностью.

13. *Педагогические Курсы на Дому, 25—77 выпусков в год (некоторые двойные и тройные), до 128 стр. каждый, в общем около 100 печ. листов в год.*

Этот своеобразный журнал представляет собой своего рода энциклопедию для учителя, подобно той, «Детской Энциклопедии», которая в 90-х гг. выходила под редакцией Н. Ф. Каптерева с одной стороны и «читальни народной школы» А. Н. Альмединген, с другой, но с тою разницей, что «Курсы на Дому» предназначаются сельскому педагогу и несут в учительскую среду определенно-марксистское и материалистическое мирозерцание, в связи, с практической работой в школе и в деревне. Издание предназначается, главным образом, для работников трудовой школы первой ступени и ставит своей задачей: дать систематический, подробный и популярный комментарий к новым программам этой школы. Каждый выпуск представляет самостоятельное целое. Выпуски распределены по следующим рубрикам: 1. Руководства для учителя, как проводника новых программ и новых норм работы. 2. Пособия ориентировки в материале, входящем в вышеуказанные программы ГУС'а. 3. Методические пособия в узком смысле слова. Во вторую рубрику входит научно-популярная литература для учителя. Издание с первых же своих шагов имело такой успех, что на второй же год «Работник Просвещения» уже нашел возможным понизить подписную цену на него с 12 до 10 рублей. Большею частью книжки общего содержания составлены недостаточно популярно, а некоторые совершенно недоступны для того читателя, которому предназначаются.

4. *Научный Работник. Ежемесячный журнал. Орган Центрального Совета Секции Научных Работников Союза Работников Просвещения СССР. Под ред. В. Волгина, Ф. Кипарисова, Н. Кольцова, П. Лазарева, М. Лапировa-Скобло, Н. Лобода, С. Ольденбурга, М. Покровского, О. Шмидта. 250—275 стр. каждая книжка. Выходит 6 раз в год. Издается с января 1925 года. (16 × 23). 8 руб. в год.*

Журнал этот, типа обычных «толстых» журналов, посвящен вопросам строительства высшей школы, организации и учету научной работы

и профессиональной жизни научных работников. Его задача: «отражать огромную государственную работу в области организации научного исследования и строительства высшей школы с одной стороны, профессиональную и общественную жизнь научных работников с другой» и «дать возможность организованно выявлять общественное мнение самих научных работников по вопросам программы журнала». Этот последний должен отражать «роль и значение науки и научной работы в культурном и хозяйственном строительстве советского государства», потому что «лишь при непосредственном содействии научного исследования мы сможем организовать хозяйственное использование тех огромных природных богатств, которыми располагает наша страна». Программа журнала следующая: 1) Общий обзор: роль и значение научной работы в хозяйственном и культурном строительстве советского государства. Значение науки и научных методов работы в развитии техники и организации производства. Организационные и методологические вопросы как научной работы, так и популяризации научных знаний. Вопросы систематики и пропаганды научного мировоззрения.Научные работники и советская общественность. 2. Научная работа в СССР. Организация научно-исследовательской работы в СССР. Работа и достижение научно-исследовательских учреждений и экспедиций. 3. Высшая школа в СССР. Системы высшаго образования в СССР. Организационно и программно-методические вопросы высшей школы. Из жизни высшей школы на местах. 4. Заграницей. 5. Профессиональная и общественная жизнь научных работников. Вопросы их жизни и быта. 6. Хроника. Официальные материалы. Информации о работе правительственных и научных учреждений. 7. Библиография. Тираж журнала еще не определился и подписчик его еще не успел выясниться. Среди сотрудников встречаем имена целого ряда академиков (С. Ольденбург, А. Ферсман, Н. Марр, П. Лазарев, В. Ипаттьев), профессоров (П. Осадчий, Н. Кольцов, А. Пинкевич, Н. Книпович и др.). В первом № обращают на себя внимание статьи С. Ольденбурга («К юбилею Академии Наук» и «О международных Научных Объединениях после войны»), Н. Кольцов «Биография безвременно умершего Н. П. Кравкова».

15. *Журналист. Ежемесячный (иллюстрированный) журнал. Орган Центрального Бюро Секции Работников Печати Союза Работников Просвещения. 80 стр. в каждом номере. (22 × 29). Цена 9 руб. в год.*

Основные задачи журнала: «политическое воспитание работников печати, в особенности же работников литературных, и освещение задач печати под углом зрения коммунистической партии, а также руководства профессиональною работой Секции печати и разработка производственных вопросов газетного, книжного и издательского дела». Редакторами журнала являются: С. Ингулов, И. Вардин и А. Курс. Тираж журнала, несмотря на то, что он существует лишь первый год, уже достиг трех тысяч. В международных отношениях журнал служит проводником информаций о профессиональном движении работников печати в СССР, о состоянии советской печати вообще. Журнал содержит следующие отделы: общий и руководящий, «рабкор», «наша жизнь», «наш опыт», «техника и организа-

ция», «за машиной», «от станка к читателю», «ушедшие» (некрологи), «заграницей», «библиография» и «справочный отдел». Каждый № журнала дает очень много фактического материала. Обращают на себя внимание статьи В. Нарбута: «Советский писатель и книга в цифрах» (№ 3 за 1925 г.), его же статья «Книжно-журнальное дело». В мае 1925 года и в последующие месяцы журнал произвел ряд интересных анкет и опросов среди разных категорий работников книжного дела. Между прочим были поставлены такие вопросы: довольны ли вы издаваемой вами газетой? Каковы ваши пожелания к нашей художественной литературе? Что говорит издатель о себе и каждый работник печати о своем ремесле? Полученные ответы появились на страницах журнала. Такого рода анкеты, по мнению редакции, достигают следующей двойной цели: 1. «Путем провоцирования святого недовольства» вскрыть основные болезни советских газет. 2. «Собрать разные мнения по кардинальному вопросу газетной действительности и дать штриховой портрет современного редактора». Журнал еще не достаточно оформился.

Н. Рубакин.

Отзывы о книгах.

Александр Неверов. Бабы. Пьеса в 4 действ., стр. 70 в мал. 8°, Ленинград, 1926 г. Цена 25 коп. 10,000 экз. *Его же* Захарова смерть. Пьеса в 4 действ., стр. 72 в мал. 8°, Лгр., 1926 г. Цена 35 коп. 5.000 экз. Изд-во «Земля и фабрика».

Последние десятилетия выдвинули не мало даровитых писателей из народа, с фабрик и из деревни. Среди писателей-крестьян видное место принадлежит А. С. Неверову (Скобелеву). Он родился в 1886 г. в семье крестьянина Самарской губ.; в 1905 г. окончил учительскую школу; в 1916 был мобилизован, с 1919 г. целиком посвятил себя литературной работе. Умер, а по некоторым указаниям покончил с собой, Неверов молодым: в 1923 году.

О повести его «Ташкент — город хлебный» мы уже давали отзыв. Теперь перед нами две его пьесы ,часто даваемые на сценах советских народных театров. Написанные просто, без нарочитых эффектов, они привлекают внимание глубоким знанием быта, прекрасным народным языком, вдумчивым изображением деревни.

Действие пьесы «Бабы» разыгрывается в эпоху германской войны, в год перед революцией. Тема — женский вопрос в деревне. «В девках живешь — отец не считает тебя за человека; выйдешь замуж — чужой мужик колотит. Свяжет по рукам, по ногам — не дыши, сиди. Мил тебе, немил — терпи... Гнись перед ним, угождай, бить начнет — улыбайся, потому что баба ты: воли своей не имеешь. Живи — не как сама хочешь, а как мужик велит. Вот и привыкли мы по бабьи: хнычем, плачем, да на иконы глядим, да разные молитвы шепчем... Разве это жизнь? Разве люди мы? Лошади? И цена нам лошадиная»... Так жалуется на бабью долю солдатка Домна, мечтающая такой закон устроить, который бы за баб стоял...

«Где же правда? Неужели не доживу до нее?» спрашивает старуха Федосья. «Высоко она — там», показывает ей в ответ вверх полуслепой старик Кузьма. — «Далеко показываешь. Надо ближе искать, вмешивается в беседу Домна: «Вот где — в кулаке у меня, сжимает она кулак, — вы жмете нас, а мы шеи подставляем. Нет, голубчики, с вами надо по другому. Смиреньем вас не уймешь. Наступить на вас надо — вот так — и тиснуть надо хорошенько. Тогда вы поймете, как больно нам терпеть»...

Другая пьеса отражает жизнь деревни в эпоху гражданской нойны,

столкновение «отцов» и «детей». Молодой крестьянин Григорий все думает, «как разломать эту жизнь? Из другого бы колодца попить, другой воды... Стоит у меня в голове другая жизнь, и я пойду. Кто поперек дороги встанет — «через него перешагну». — «А если мать с отцом?», — спрашивает его сестра Надежда. «Все равно, отвечает Григорий: Мы с отцом обязательно столкнемся, а я не уступлю»... «Жалко мне тебя, братец. Не осилишь ты их, один ты». — «А ты не поможешь?» — «Чего я знаю? Я неопытная, замечает Надежда». — «Я тоже немного знаю. Много другие будут знать, когда за нами пойдут, а мы только чувствуем. Чувствую вот я, что не так устроена наша жизнь, и первый поднимаю свою руку. Может быть, я и не сделаю ничего, только старое разломаю, и это хорошо. Лиха беда начать, там другие подойдут»...

В пьесах не одни разговор, они полны драматизма. В прежнем одобренном для народных театров репертуаре, столь скудном, таких произведений, конечно, не было. Но эти пьесы не только полезны для деревни, они открывают глаза и горожанину на своеобразный склад крестьянской жизни.

За годы революции русская драматическая литература развилась не так пышно, как поэзия и повесть, но и для сцены создано было несколько ярких вещей. О некоторых, как, например, о нашумевшей пьесе «Мандате» Эрдмана, приходится судить лишь по наслышке. За рубеж пьесы советского репертуара почти не проникают. Между тем, такие произведения, как Неверовские, заслуживали бы и перевода на иностранные языки.

Д. Лутохин.

Г. Винокур. Культура языка: Очерк лингвистической технологии. Стр. 216, в мал. 8⁰ М. 1925 г. 3.000 экз. Изд. «Работник Просвещения».

В то время, как в Америке приступлено к систематическому изучению революции, даже в самой Советской России многие области жизни, несомненно захваченные стихией революции, остаются вне поля исследования. Одной из таких областей является слово: язык революции, язык под влиянием революции и даже революции под влиянием языка, вопросы лишь частично затронутые в небольших работах А. Горнфельда, Р. Якобсона, С. Карцевского (из двух последних одна вышла в Праге, другая в Берлине!).

Первым опытом широкого освещения вопроса о культуре языка в тесной связи с обстановкой русской революции является книга Г. Винокура. Автор, обладающий широкой осведомленностью в вопросах филологии, внимательно собиравший материалы по эволюции современного слова, смелый, тонкий и остроумный исследователь, опубликовал яркую и содержательную работу... Ее недостатком является лишь то, что она составилась из ряда статей и потому фрагментарна, и то, что автор и по существу несколько механически объединил свои очерки общей мыслью о невозможности развития культуры нашей без развития культуры лингвистической. В действительности же мысль читателя не подчиняется заданию автора, а все время рассеивается множеством попутных вопросов,

выдвинутых книгою. Хотя задачи лингвистической политики лишь намечены автором эскизно, иногда намеками, Г. Винокуру удалось зато доказать и показать, что не следует забронировывать язык от новообразований, которые и ему иногда неприятны, но он предлагает взглянуть на их смысл и содержание, как *на совершившийся факт, с точки зрения того, как могут быть эти новые факты целесообразно и разумно использованы.* Достоинством исследования является включение в круг изучения наряду с художественной литературой — и литературы нехудожественной: газетной, научной, языка канцелярии, писем, рекламы.

Очень много правды сказано автором по адресу «пуристов», которых бывает особенно много «в периоды значительных сдвигов в организации языка, когда язык быстро и наглядно реформируется, вбирая в себя много заимствований, неологизмов и иных невообразований. «База пуризма это всегда или косность, упрямство традиции или — к сожалению — чаще всего политика. Культурно-политическая физиономия адмирала Шишкова слишком хорошо известна для того, чтобы можно было сомневаться в основном смысле его борьбы с Карамзиным. Человек, который, будучи впоследствии министром народного просвещения и цензором, считал, что истинное просвещение — в страхе божьем» и больше всего боялся, как бы российские учащиеся не узнали научных «новизн» Запада, естественно не мог мириться с неологизмами Карамзина прежде всего потому, что источник этих неологизмов — культура чужеземная, политически неприемлемая». Шишков заявил, что «писатели, искавшие литературных образов во французской словесности, были виновниками не только «заразы французской», но даже нашествия Наполеона и пожара Москвы»...

Пуристу Горнфельду, сетовавшему, что Чехов ввел в литературу хамское словечко «извиняюсь», Винокуров напоминает о том, что словом этим пользовались Пушкин, Тургенев, Гончаров и Достоевский. Примеров невежества пуристов Винокуров собрал достаточно. Пуристов он не научит. Ведь еще Буало сказал:

Le vers le mieux rempli, la plus belle pensée
Ne peut plaire à l'esprit, quand l'oreille est blessée.

(Стих наилучше сделанный, прекраснейшая мысль — Не могут нравиться уму, если повреждено ухо).

Но людей, еще не тугих на ухо, Винокур может научить многому.

Автор отнюдь не «защитник по назначению» всего, что внесла революция в область языка.

Он вспоминает, например, время, когда царские чиновники запрещали пользоваться инородцам их языком («Ни польский язык, ни литовский с латышским от этого не исчезли») и сопоставляет это время с теперешним, когда даже «вся армия бесписьменных народов Юго-востока Евр. России и Сибири начинает выделять специалистов (большей частью весьма сомнительных), которые изобретают национальные грамматики, начинают вводить свой язык в круг административно-государственного пользования и т. п.».

«Не говорите по-русски», — «говорите по-чувашски». «*Предписания в*

данном случае отдаются не языку, а людям». — К языковой политике отношения это не имеет... «Целью ее может быть только язык».

В. Карпинскому, заявившему на страницах «Правды», что для огромнейшего большинства населения литературный язык, выработанный дворянской интеллигенцией, является загадочным «арго», автор резонно и спокойно указывает: «Не будем сознательно с заранее обдуманным намерением отказываться от культуры, не будем отказываться от мысли, что культуру эту можно усвоить и нашему крестьянству, а вместе с общей культурой — и литературный культурный русский язык».

Книга заслуживает самого широкого распространения и обсуждения. Это одна из наиболее значительных русских работ по вопросам духовной культуры за последние годы.

Ф. Репейников.

А. Е. Редько. Театр и эволюция театральных форм. Изд-во М. и С. Сабашниковых. Ленинград, 1926 г. Стр. 132 в 8°. 1 руб., 2.000 экз.

Содержание книги гораздо уже названия: авторы говорят только о русском столичном драматическом театре за последнюю четверть века. Было бы еще лучше, если бы задачей книги было подвести итоги послереволюционной эпохи, наименее освященной в нашей литературе о тетаре. Поэтому читатель с особенным интересом ознакомится с главами, посвященными новым постановкам государственных театров, художественников, В. Мейерхольда, Таирова, «Заумными» спектаклями В. Татлина. Об интересных опытах массовых постановок на открытом воздухе — не упоминается. О провинциальном театре — ни слова. На работу в области деревенского театра — ни намека... Главный же недостаток работы — неспособность авторов к историческому синтезу. Она выявилась не только в отсутствии общей формулы и в сомнительной предпосылке, что в «разных областях искусства происходят свои революции — и между этими «революциями нет ничего общего кроме наименования»...

Но книжка написана просто, спокойно, незлобиво, в ней есть материал.

Столпник.

А. Чаянов: «Краткий курс кооперации». Москва, 1925 г. Центральное Товарищество «Кооперативное Издательство». Стр. 80.

Маленькая книжечка, но богатая содержанием...

Автор ставит себе задачу выяснить природу кооперации в применении к сельскому хозяйству. Для этого А. Чаянов ставит ряд следующих вопросов: 1. Можно ли организовать распыленное крестьянское хозяйство, подобно промышленности на базисе научной техники и научной организации? 2. Если подобная организация возможна, то какие к тому пути и вообще есть ли такие пути? 3. Чего можно ожидать от кооперации в будущем?

На поставленные вопросы автор отвечает, рассматривая порознь природу кооперации потребительской (часть 2 главы и третья), сельско-хозяйственной и кредитной (главы IV—VI). Такой способ позволяет ему дать краткие, но почти исчерпывающие для первоначального знакомства сведения по кооперации и в то же время высказать целый ряд суждений, достойных самого внимательного к себе отношения.

Отвечая на первый вопрос — возможна ли организация крестьянского хозяйства на базисе научной техники, — Чаянов, говорит, что кооперация дает преимущества крупного производства, построенного по последнему слову научной техники. При этом, важным является здесь то обстоятельство, что кооперативные предприятия строятся в формах *«общественного хозяйства,* т. е. с социальной стороны являются высшей формой организа-

ции» (стр. 8), «Кооперация перестраивает разобщенные индивидуальные крестьянские хозяйства в высшие формы», и в этом автор видит основную задачу строительства новой русской деревни, (стр. 13). Вопреки общепринятому мнению что кооперация есть объединение лиц, Чаянов утверждает, что кооперация это прежде всего объединение хозяйств, хотя последние, входя в такой союз от этого не уничтожаются, а сохраняют природу мелких трудовых хозяйств, (стр. 9). В процессе дальнейшего развития кооперации следует ожидать все большего втягивания крестьянских хозяйств в русло координации хозяйственной деятельности их владельцев, что приведет, в конечном итоге, к *«социалистической организации земледелия»*. Начальной стадией такой координации, как думает автор, является система советского планового хозяйства.

Рассматривая природу потребительской кооперации, Чаянов отмечает, что последняя, как и кооперация сельско-хозяйственная, имеет производственное значение. «Потребительская кооперация — говорит автор — давая населению крупные сбережения, тем самым, имеет и большое производственное значение, позволяя эти сбережения обратить в сел.-хоз. машины, скот, улучшенные семена». В этом лежит ее глубокое «производственное значение», (стр. 32).

Рассматривая природу сел.-хоз. кооперации, Чаянов выражает другое оригинальное суждение . Он утверждает, что в последней, как и в кооперации потребительской, проводятся рочдэльские принципы, характеристику которых, автор излагает предварительно в главе 2-й. Кроме того, посвящая отдельные главы кредитной кооперации, сбытовой, маслодельным артелям и т. под., автор доказывает, что благодаря воздействию поименованных товариществ сельское хозяйство перестраивается на научных началах, на началах высокой техники. Таким путем создается новый социально-экономический строй на базисе постепенного кооперативного обобществления капиталов, обращающихся в земледелии». (Стр. 60).

Последнее утверждение находится в полной гармонии, как с общей предпосылкой Чаянова, что кооперация — объединение хозяйств, — так и с частным тезисом, в силу которого сбытовая и потребительская кооперация трактуется им как кооперация производственная. (Стр. 66).

Трактуя так кооперацию, Чаянов говорит о ее будущем, как о грандиозном социально-экономическом перевороте, превращающем распыленное крестьянское хозяйство в стройное хозяйственное целое, в новую систему организации земледелия на базисе обобществления, (стр. 79).

Хотя с некоторыми положениями Чаянова мы не согласны, однако, должны признать, что изложение и доказательства даны в последовательности и стройности весьма убедительных. Книга имеет, кроме того, целый ряд других достоинств. Простота языка, яркость и свежесть примеров, богатство практических сведений, нужных кооператору-практику — все это делает книгу ценной для любого читателя. Сверх того, книга написана с большим подъемом: «В твоих собственных руках лежит твое будущее, русский крестьянин! Для тебя к светлому счастью трудовой жизни нет иного пути, кроме пути кооперативного. Знай, что этот путь — единственный путь!» — так взывает знаток крестьянского горя и крестьянской нужды — Чаянов.

Григорий Радченко.

Ответственный редактор *И. Давид.* Издатель *Е. Е. Лазарев.*
Исполнено «Легиографией», Praha-Vršovice, Sámova 665

HÔTEL BERÁNEK PRAHA



СЛАВЯНСКИЙ ОТЕЛЬ

— БЕРАНЕК —

ПРАГА - ВИНОГРАДЫ

ТЫЛОВА ПЛОЩАДЬ

200 №№ КОМФОРТАБЕЛЬНО ОБСТАВЛЕННЫХ *200* №№

ЦЕНТР РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

КАФЕ РЕСТОРАН

ЗАЛЫ ДЛЯ СОБРАНИЙ, СВАДЕБ, ТОРЖЕСТВ И ПРОЧ.

KAVÁRNA BERÁNEK.

Золото, платину, серебро, монеты и др. драгоценности по самым высоким ценам покупает единств. ч.-сл. фирма

FR. HLADÍK

Прага, Народни тш. 38, 2-й этаж (влево).

Самое дешевое чешское перо



по почте 1 кило серого хор. пудр. 18 к. ч., драное 22 к. ч., бел. пушист. др. перья 28, 35, 40. 50 к. ч., нежный пух от 60, 70, 80 к. ч. Готовые перины на 140, 160, 190, 240 к. ч. Подушки 80/60 см. на 38 к. ч. до 45, 60, 70, к. ч. Посылка наложи. платеж., непонравившиеся можно обменять или деньги возвращ. Большой прейскурант **бесплатно.**

S. BENIŠ, Praha-Vinohrady Krameriova ul. č. 26/414 Čechy

Большинство русских приезжающих в Прагу из провинции Ч.-Сл. Респ. из заграницы и в особенности из балканских государств, останавливаются в славянском отеле Беранек (см. об'явл.)

HELLA — название найлучших кореньев для супа. Изготовляется известн. фирмой **Перинг** в Праге.

„HELLA" НАЙЛУЧШИЕ КОРЕНЬЯ ДЛЯ СУПА

Для супа Перинга коренья нужны, как сахар для варенья

PIERINGOVA

Найлучший из всех

SANTAL MONAL

AU BLEU DE METHYLENE

Радикальное и быстрое лечение

SANTAL MONAL признан всеми врачами мира. Лаборатория Monal, Paris 6 rue de Bridaine Продажа в Праге, аптека **Schnöblinhova, Praha I. Malé nám.** и во всех аптеках. — Заказы исполняются почтой. **Цена коробки с 50 капсулями — 25 кч.**

— В ПРАГЕ —

ЛЕЧЕНІЕ ЗУБОВ

пломбы, искус. зубы из наилучш. матер. Прием от 9 до 6 час.

М. А. ШЕБШАЕВИЧ,

зубн врач.

Praha–Karlin Palackého 15. 1-й эт.

(Против театра Варьетэ)

Новая брошюра под редакцией И. А. ДОЛИНА:

Справочная книжка для русского в Чехословакии

(Посылки в С.С.С.Р., как переводить деньги в С.С.С.Р.) и т. д.

Требуйте во всех книжных магазинах.

Цена к. ч. 4.50. **Цена к. ч. 4.50.**

EDEN

Увеслительный и спортивный парк в Вршовицах-Праге

заново отремонтирован и открыт

с воскресенья 4 апреля с. г.

Трамваи №№ 1 и 20. Вход: 1 к. ч., дети 50 гал.

Вышла и поступила в продажу *Вторая Книга* Журнала Русской Литературной Культуры

„БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ"

под редакцией Кн. *Д. А. Шаховского*. Под руководством *Г. Соколова*.

Содержание: Поэзия: Неизданная глава из «Рустем и Забор» — *Жуковского*. Отрывок из поэзии *Давида Кнута*. «Соррентинские фотографии» — *Владислава Ходасевича*. Стихотворения: *Марины Цветаевой и Шаховского*. Проза: Пражская легенда» — *Еленева*. «Тыл». — рассказ *С. Эфрона*. «Страды Богородицы» — *Алексея Ремизова*. «Москва» — повесть *Д. Соболева*. Статьи: «О консерватизме», диалог — *Д. Святополк-Мирского*. «Поэт о критике» — *Марины Цветаевой*, «Слово и звук» — *Н. Набокова*. Архив: Письма и материалы — Гоголя, Жуковского, Ростопчиной, Измайлова, Мятлева, Библиография.

Цена книги один доллар.

Главный склад издания, Редакция и Контора журнала: 527, Av. Louise Bruxelles (Belgique).

Четвертый год издания. Четвертый год издания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на

„ЗВЕНО"

еженедельный журнал литературы и искусства, выходящий в Париже под ред. М. М. Винавера и П. Н. Милюкова.

Подписная цена вне Франции: 1 мес. — 3 фр., 3 мес. — 8 фр., полгода — 15 фр., на год — 28 фр.

Адрес конторы: 26, rue Buffault, Paris (9-e).

Пробные номера бесплатно.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ.

„ПЕРЕЗВОНЫ"

Редакция и контора: Riga (Lettonie) — L. Kaleju iela, 43. Тел. 20—76, 34—48 и 83—40.

Цена отд. номера в 32 стран.:
В **Латвии** — 80 сант. (40 р.).
В **Чехословакии** — 8½ к. ч.
В **Германии** — 80 пфен.
Заграницей — 20 ам. цент.

„PEREZVONY",

Генеральные пред-ва:
В **Чехословакии:** Изд. «ПЛАМЯ» (Praha II., Jená, 32).
В **Польше:** Изд. «ДОБРО» (Warszawa, Hoza 45—8).
В **Болгарии:** книжн. торговля Н. Алексеева (София, Б. Тырново, 17).
В **Вене:** А. В. Мухин (Wien, Petersplatz, 9).

Сотрудники: М. А. Алданов, К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, Ю. Галич, О. Далматова, А. Даманская, Дон-Аминадо, Бор. Зайцев (ред. литерат. отдела), А. И. Куприн, Вл. Лодыженский, Ив. Лукаш, С. Минцлов, проф. Н. И. Мишеев, Мих. Осоргин, А. М. Ремизов, Н. А. Тэффи, А. Черный, Евг. Ник. Чириков, Марина Цветаева, И. Шмелев, Сем. Юшкевич. Художники: акад. Н. П. Богданов-Бельский, акад. С. А. Виноградов, Ю. Г Рыковский и др. Обложка — работы М. Добужинского.

Постоянные отделы: Детский уголок. По белу свету. Искусство. Из области науки, открытий и изобретений. Русская книга.

В каждом номере **репродукции картин** известных русских и иностранных **художников.** — Из них **2 в красках.**

Вл-91-3535/42а
П 1
543
1926
№4

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ

Центральный орган партии социал.-революц.

Вышел № 47 (март-апрель 1926 г.).

Содержание: Передовая: Перерождение компартии. — Госпромышленность, сельхозналог и выколачивание недоимок. *Гр. Шрейдера.* — Вопросы программы и тактики: К теории государственного социализма или госуд. капитализма. *В. Чернова.* — Рабочая жизнь: Промышленность и рабочие. *В. Архангельского.* — Письмо из Москвы. *Ворчуна.* — Деревня: Немного политграмоты. 1. Крестьянство и организация власти. 2. Крестьянство и свобода. 3. Крестьянство и красная армия *Грилича.* — Заграницей: В собственных сетях (кризис Лиги Наций). *Обозревателя.* — Политика француз. социализма. *Е. Сталинского.* — Идеология фашизма. *Евг. Шрейдера.* — По России: Письмо с дороги. *Путника.* — О конфликте на К. Ц. ж. д. *Сергея Львова.* — Письмо из Тавриза. *Keohna.*

Адр.: ред. S. Postnikov, red. Volja Rossii, Uhelný trh 1, Praha I.

Цена 6 ч. кр.

БОЛЬШАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА

V г. изд. **„ДНИ“** V г. изд.

Выходит ежедневно, кроме послепраздничных дней в Париже.

Специальные срочные сообщения из России.	Полная информация о политической жизни заграницей.	Рабочее и социалистическое движение в Европе.

Собственные корреспонденты в крупнейших центрах Европы, Америки и странах ближнего и дальнего Востока.

Хозяйственная жизнь России. — Искусство, театр и музыка в Европе и России.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ: **Большой культурно-литературный отдел.**

ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ: **Особый отдел: «РУССКИЙ ТРУД ЗАГРАНИЦЕЙ», посвященный защите экономических и культурных интересов русских трудящихся заграницей.**

Открыта подписка на 1926 г.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Париж — 11, rue Etienne Marcel prolongée, Paris III (chèque postal № 80, 446. **Прага** — Panská ul. 16 (почт. счет 26,998; банк: Pražská Úvěrní banka, Banka stav. živn. a průmyslu). **Берлин**—Berlin SW. 68, Lindenstr. 3 (Postschek-Konto, Berlin 52,698; банк: Disconto-Gesellschaft, Dep. Kasse, Lindenstr. 3). **Белград** — Filiálka Pražské Úvěrní banky. **София** — Filiálka Pražské Úvěrní banky.

Объявления принимаются в Гл. Конторе и ее отделениях, и у генерального представителя О-ва «Le Flambeau» 34, Bd. des Italiens, Paris.

„VOLJA ROSSII“ - Revue russe, Uhelný trh 1. Prague. Tchécoslovaquie. — Тип. «Легиография»